
БИБЛИОТЕКА
КРАСНОАРМЕЙЦА
ВАСИЛИЙ ГРОССМАН
Сталинградская
битва

Б И Б Л И О Т Е К А   К Р А С Н О А Р М Е Й Ц А

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА ССР

Москва 1946

СОДЕРЖАНИЕ

Художник *В. Богаткин.*

Редактор *Е. Р. Рамм*

Набрано и отпечатано под наблюдением майора *Куценкова В. И.*
Технический редактор *Коновалова Е. К.*
Корректор *Васильев Б. К.*

Г 07616 Подписано к печати 2. 8. 46. Изд. № 2045/Л.
Объем 3 п. л. Заказ № 1413

ОТ АВТОРА

В этой книге собраны очерки, написанные на Сталинградском фронте в период с сентября 1942 года до начала января 1943 года, — они описывают оборону Сталинграда, начало нашего наступления и первый этап окружения немецких войск.

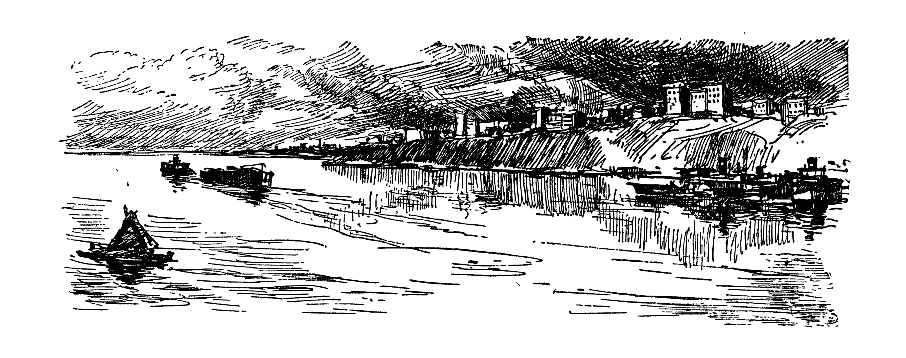
Сталинградское сражение явилось поворотной точкой всей Великой Отечественной войны. В этом сражении хрустнул хребет фашистского зверя, он надорвал в этом сражении свои силы, получил глубокие кровоточащие, незаживающие раны.

Сталинград недаром носит имя Сталина, великого вождя, организатора и вдохновителя сталинградской победы.

Для Красной Армии, для нашего народа, для грядущих поколений Сталинград останется вечным символом торжества сил добра и разума над силами мрака.

Сталинград станет живым и вечным примером для всех народов:

тот, кто беззаветно верит в добро и справедливость, кто любит свободу больше жизни, тот победит в самой тяжкой борьбе.



ВОЛГА — СТАЛИНГРАД

Долог путь от Москвы до Сталинграда. Наша машина шла фронтовыми дорогами, мимо прелестных рек и зелёных городов. Мы ехали пыльными просёлками, укатанными грейдерами, ехали яркими синими полднями, в горячей пыли, и на рассвете, когда первые лучи солнца освещают пышно налившуюся краской рябину, ехали ночью, и луна и звёзды блестели в тихих водах Красивой Мечи, золотой рябью плыли по молодому быстрому Дону.

Длинна дорога к Сталинграду. Вот уж другое время — часы здесь на час вперёд. Вот и другие птицы — большеголовые коршуны на толстых мохнатых лапах неподвижно укрепились на телеграфных столбах, по вечерам серые совы тяжело, неловко летают над дорогой. Злей стало дневное солнце. Ужи переползают дорогу. И степь уж другая — пышное многотравие её исчезло. Степь коричневая, жаркая; она поросла пыльным бурьяном и полынью, тощим, жалким ковылём, льнущим к потрескавшейся земле. Волы тащат телеги, вот и двугорбый верблюд стоит среди степи. Всё ближе Волга. Физически ощущается огромность захваченного врагом пространства, страшное

чувство тревоги давит на сердце, мешает дышать. Это война на юге, война на Нижней Волге, это ощущение вражеского ножа, зашедшего глубоко в тело, эти верблюды и плоская выжженная степь, говорящие о близости пустыни, — вызывают чувство тревоги.

Отступать дальше нельзя. Каждый шаг назад — большая и, может быть, непоправимая беда. Этим чувством проникнуто население приволжских деревень, это чувство живёт в армиях, защищающих Волгу и Сталинград...

Ранним утром мы увидели Волгу. Река русской свободы глядела сурово и печально в этот холодный и ветреный час. Низко неслись тёмные облака, но воздух был ясен, и на много вёрст был виден белый обрывистый правый берег и песчаные степи заволжья. Светлая волжская вода широко и свободно шла меж огромных земель, точно могучий металл, соединивший воедино правобережье и заволжье. У высокого берега вода бурлила, вертела арбузные корки, точила осыпающийся песчаник, волна вздыхала, колебля бакан.

К полудню ветер разогнал облака, сразу стало жарко, и Волга засияла под высоко и круто поднявшимся солнцем, поголубела, воздух над ней подернулся лёгким синеватым туманом, мягко и спокойно лежал у воды песчаный луговой берег.

Одновременно радостно и горько было глядеть на прекраснейшую из рек. Пароходы, выкрашенные в зелёно-серую краску, закрытые увядшими ветвями, стояли у причалов, лёгкий дымок едва поднимался над трубами, — они сдерживали своё шумное, живое дыхание, боясь быть замеченными врагом. Всюду к самому берегу тянутся окопы, блиндажи, противотанковые рвы. У некогда шумных переправ, где беспечно толпились люди, скрипели подводы, груженные арбузами и дынями, где шныряли мальчишки с удочками, теперь стоят зенитные пушки, сдвоенные и счетверённые пулемёты, замаскированные грузовики, рассредоточившись, ожидают очереди. Война

подошла к Волге. Нигде так не звучала артиллерийская канонада, как здесь, над волжским простором. Звук артиллерийской стрельбы, не стесненный преградами, усиленный эхом, звучит здесь во всю полноту, могуче перекатываясь, поднимается от земли к небу и вновь опускается от неба к земле. Этот торжественный грохот напоминает людям о том, что война вступила в решающую полосу, что отступать дальше нельзя, что Волга — это главный рубеж нашей обороны.

По ночам старухи в волжских деревнях рассказывали одну и ту же сказку о пленном немецком генерале, который сказал захватившим его бойцам: «У меня приказ такой: возьмём Сталинград — дальше за Волгу пойдём. Не возьмём Сталинграда — придётся нам обратно за свою границу итти, не удержаться нам тогда в России». Это, конечно, сказка, но в этой сказке, как во всякой сказке, придуманной народом, больше правды, чем в другой были. И мысль о Волге и Сталинграде, о главной и решающей битве владеет всеми: стариками, женщинами, бойцами рабочих батальонов, танкистами, лётчиками, артиллеристами.

В конце августа немцы напали на Сталинград с воздуха. Такой силы воздушного удара немцы не концентрировали ни разу за всю войну: противник произвёл свыше тысячи самолёто-вылетов. Он обрушил свои удары на жилые кварталы, на прекрасные здания центральной части города, он бил по библиотекам, по детской больнице, по госпиталям, по школам и высшим учебным заведениям. Огромное зарево и клубы дыма поднялись над Сталинградом, протянувшимся свыше, чем на шестьдесят километров, вдоль берега Волги. Долгие часы один из прекраснейших городов Советского Союза, с домами, населёнными женщинами, детьми, подвергался чудовищной бомбёжке. Немцы, конечно, знали, что все заводы находятся на окраине города. Но били они главным образом по центру.

Во время воздушного налёта противник вырвался к Волге северней города. Колонна танков и следующие за

танками грузовики с мотопехотой некоторое время непосредственно угрожали северной окраине Сталинграда в районе тракторного завода. Удар врага отразила противотанковая часть подполковника Горелика и зенитчики подполковника Германа. Вместе с ними сражались рабочие батальоны тракторного завода и «Баррикад». Нашлись среди рабочих прекрасные артиллеристы, танкисты, миномётчики. Прямо из заводских ворот выезжали танки, выкатывали орудия, вывозились миномёты на поле боя. В эту огненную ночь заводы продолжали работать среди рёва разрывов, в бушевавшем вокруг пламени. Много десятков тяжёлых пушек и танков получила армия за два дня боёв северо-западней Сталинграда. Прекрасно спокойное мужество рабочих, инженеров, начальников заводских цехов.

Навсегда войдёт в историю этой войны имя весёлого и пламенного капитана Саркисьяна, первым встретившего тяжёлыми миномётами немецкие танки. Навсегда запомнится зенитная батарея лейтенанта Скакуна. Потеряв связь с командованием зенитного полка, она больше суток самостоятельно дралась с воздушным и наземным врагом. Её атаковали с воздуха пикировщики, с земли тяжёлые танки противника. Земля и воздух, пламя и дым, чугунный грохот бомбовых разрывов, вой снарядов и пулемётных очередей смешались в единый хаос.

На батарее были девушки-зенитчицы: прибористки, дальномерщицы-стереоскопистки, разведчицы. Сутки дрались они рядом с товарищами артиллеристами. «Подавлены, накрыли», — каждый раз думал командир полка, когда замолкали зенитки. И каждый раз снова слышалась чёткая размеренная пальба зенитных пушек. Сутки длился этот страшный бой. Лишь на следующий день вечером пришли с батареи уцелевшие четыре бойца и раненый командир. Они рассказали, что за время боя девушки ни разу не ушли в укрытия, а бывали минуты, когда нельзя было не уйти. И внезапный прорыв врага к городу был отбит. Положение упрочилось.

Так открылась первая страница эпопеи обороны Сталинграда, страница, написанная огнём и кровью, стойкостью войск, мужеством рабочих и любовью. Оборона Царицына и оборона Сталинграда. Кровопролитные бои снова идут в тех же местах, где красные войска обороняли Царицын. Снова в сводках называются деревни и хутора, известные по обороне Царицына, войска идут мимо поросших травой старых окопов, описанных историками гражданской войны; немало участников обороны красного Царицына, рабочих, партийных работников, рыбаков, крестьян добровольцами идут оборонять красный Сталинград.

Мы приехали в Сталинград вскоре после налёта. Ещё кое-где дымились пожарища. Приехавший с нами товарищ сталинградец показывает нам свой сгоревший дом. «Вот здесь была детская, — говорит он, — а здесь стояла моя библиотека, а вон в том углу, где исковерканные трубы, я работал — тут стоял мой письменный стол». Из-под нагромождения кирпича видны изогнутые остовы детских кроватей. Стены дома горячи, как тело покойника, не успевшее остыть. Ясное беспечное небо смотрит сквозь прогоревшую крышу. Над зданием детской больницы имени Ленина видна скульптура орла; одно крыло орла отбито осколком бомбы, второе простёрто для полёта. Стены и колоннада погибшего Дворца физкультуры покрыты копотью пожара, и на чёрно-бархатном фоне ослепительно выделяются две белых скульптуры нагих юношей. На окнах пустых домов дремлют холёные сибирские кошки, зелёные вазоны дышат свежим воздухом сквозь выбитые стёкла. Мальчики собирают возле памятника Хользунова осколки бомб и зенитных снарядов. В тихий вечерний час печальна розовая красота заката, глядящего через сотни пустых оконных глазниц. Над многими зданиями прибиты мраморные мемориальные доски: «Здесь выступал в 1919 году Сталин», «Здесь помещался штаб обороны Царицына». В центральном сквере стоит каменная колонна с надписью: «Пролетариат

красного Царицына борцам за свободу, погибшим в 1919 году от рук врангелевских палачей».

Сталинград живёт и будет жить. Нельзя сломить воли народа к свободе. Рабочие отряды расчищают улицы, дымят заводские трубы, а небо покрыто круглыми облачками зенитных разрывов. Люди сразу привыкли к войне. На паром, переправляющий к городу войска, то и дело налетают неприятельские истребители и бомбардировщики. Рокочут пулемётные очереди, бьют зенитки, а матросы, поглядывая на небо, едят сочные арбузные ломти, мальчишки, свесив с парома ноги, внимательно следят за поплавком своей удочки, пожилая женщина, сидя на скамеечке, вяжет чулок. Каждый день на фронт уходят новые рабочие отряды. Сталинград стал в строй пролетарских крепостей страны: Тулы, Ленинграда, Москвы. Эти крепости неприступны. Мы входим в подворотню разрушенного дома. Население дома обедает на столах, устроенных из досок и ящиков, дети дуют в миски с горячими щами. Один из военных товарищей поднимает с земли полуобгоревшую книгу. «Униженные и оскорблённые», — читает он вслух, оглядывает сидящих на узлах женщин и вздыхает. Подошедшая школьница, поняв ход его мыслей, говорит сердито: «К нам это не относится, мы оскорблённые, но не униженные. Униженными мы никогда не будем».

Ночью мы ходим по улицам. В небе гудение моторов, бесшумно сталкивается свет наших и немецких прожекторов. Торжественно выглядят прямые улицы, пустынные широкие площади. Позвякивают винтовки патрулей. Рокоча, движутся танки, танкисты внимательно оглядывают улицы. Идёт пехота, тяжело и грузно шагая по асфальту. Лица бойцов сосредоточенны и задумчивы. Наутро бой. Бой за Волгу, за Сталинград.

Горько воевать на Волге. Но, нет, не только об обороне нужно нам думать. Здесь, на Волге, должна решиться судьба великой войны за свободу. Пусть здесь опу-

стится на врага выкованный в тяжких испытаниях меч победы.

А войска всё идут, идут по тёмным улицам. Лица людей задумчивы. Эти люди будут достойны великого прошлого, революции, тех, кто пал, обороняя красный Царицын от белогвардейцев.

Сталинград
5 сентября 1942 года





СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

В конце сентября одна наша гвардейская дивизия своими тремя стрелковыми полками, с артиллерией, обозами, санитарной частью и тылами подошла к рыбачьей слободе на восточном берегу Волги, напротив Сталинграда. Марш был совершён необычайно стремительно — на автомашинах. День и ночь пылили грузовики по плоской заволжской степи. Коршуны, садившиеся на телеграфные столбы, становились серыми от пыли, поднятой движением сотен и тысяч колёс и гусениц, верблюды тревожно озирались, — им казалось, что степь горит, — могучее пространство всё клубилось, двигалось, гудело, воздух стал мутным и тяжёлым, небо заволокло красной ржавой пеленой, и солнце, словно тёмная секира, повисло над тонущей во мгле землёй.

Дивизия почти не делала остановок в пути, вода вскипала в радиаторах, моторы грелись, люди на коротких остановках едва успевали глотнуть воды и отряхнуть с гимнастёрок тяжёлую, мягким пластом ложившуюся пыль, как раздавалась команда: «По машинам!» — и снова моторизованные батальоны и полки, гудя, двигались на юг. Стальные каски, лица, одежда, стволы орудий, крытые

чехлами пулемёты, мощные полковые миномёты, машины, противотанковые ружья, ящики с боеприпасами — всё сделалось рыжевато-серым, всё покрылось мягкой тёплой пылью. В головах людей стоял шум от гула моторов, от хриплого воя гудков и сирен — водители боялись столкновений в пыльной мгле дороги и всё время жали на клаксоны. Стремительность движения захватила всех — и бойцов, и водителей, и артиллеристов. Только генералу Родимцеву казалось, что его дивизия движется слишком медленно; он знал, что в эти дни немцы, прорвав нашу сталинградскую оборону, вырвались к Волге, заняли господствующий над городом и Волгой курган и продвигались по центральным улицам города. И генерал всё торопил движение, всё повышал и без того бешеный темп его, всё сокращал и без того короткие остановки. И напряжение его воли передавалось тысячам людей — им всем казалось, что вся их жизнь состоит в стремительном, день и ночь длящемся, походе.

Дорога повернула на юго-запад, и вскоре стали попадаться клёны и вербы с красными стройными ветвями, с узкими серебристо-серыми листьями, вокруг раскинулись большие сады, засаженные приземистыми яблонями. И одновременно с приближением к Волге дивизия увидела тёмное высокое облако — его нельзя было спутать с пылью, оно было зловещим, быстрым, лёгким и чёрным, как смерть: то поднимался над северной частью города дым горящих нефтехранилищ. Большие стрелы, прибитые к стволам деревьев, указывали в сторону Волги, на них было написано: «Переправа», и надпись будила в солдатской душе тревогу; казалось, что чёрный ободок вокруг надписи из того смертного дыма, что стоит над горящим городом. Дивизия подошла к Волге в грозные для Сталинграда часы: нельзя было дожидаться ночной переправы. Люди торопливо сгружали с машин ящики с оружием и патронами, ломали крышки, вместе с хлебом, сахарином, колбасой получали гранаты, бутылки с горючей жидкостью.

Нелёгкая вещь быстро переправить через Волгу полнокровную дивизию даже во время маневров. Но переправить дивизию, когда над Волгой светит ясное солнышко, когда воздух прозрачен, когда в небе носятся жёлтые осы — «Мессеры», когда немецкие пикировщики бомбят берег, а миномёты и автоматчики обстреливают с высот расстилающуюся перед ними в своей ясной шири реку, — это не то, что не легко, это больше, чем трудно.

Но дух стремительного движения, принятый дивизией на марше, воля к сближению с противником помогли справиться с этой задачей. Переправа прошла с малыми потерями, настолько стремительно и смело была она проведена. Люди грузились на баржи, паромы, лодки. «Готово?» — спрашивали гребцы. «Вперёд, полный!» — кричали капитаны катеров, и серенькая подвижная полоска зыбкой воды между бортом и берегом вдруг начинала расти, шириться, волна тихо поплёскивала у носа судёнышка, и сотни глаз напряжённо, внимательно глядели то на воду, то на поросший начавшей желтеть листвой низовой берег, то туда, где в беловатой дымке высился сожжённый город, принявший жестокую и прекрасную судьбу. Баржи колыхались на волне, и людям стрелковой земной дивизии становилось страшно от того, что враг всюду, в небе и на берегу, а они встречаются с ним, не чувствуя успокаивающей прочности земли под ногами. Невыносимо прозрачен и чист был воздух, невыносимо ясно синее небо, безжалостно ярким казалось солнце, обманчиво неверной текучая мутная вода. И никого не радовало, что воздух чист, что ноздри ощущают речную прохладу, что воспалённых от пыли глаз касается нежная влажность дыхания Волги.

На баржах, паромах, катерах и лодках молчали. О, почему не стоит над рекой душная и густая земная пыль! Почему так прозрачен и тонок голубоватый дымок горящих шашек! Головы тревожно поворачивались, все глядели на небо.

— Пикирует, паразит! — крикнул кто-то.

Метрах в пятидесяти от баржи вдруг выгнало из воды высокий и тонкий голубовато-белый столб с рассыпчатой вершиной. Столб обвалился, обдав людей обильными брызгами, наплескав водой на дощатую палубу. И тотчас ещё ближе вырос и обрушился второй столб, за ним третий. А в это время немецкие миномётчики открыли беглый огонь по начавшей переправу дивизии. Мины рвались на поверхности воды, и Волга покрывалась рваными пенными ранами, осколки застучали по бортам баржи. Тихо вскрикивали раненые, так тихо, словно старались скрыть ранение от друзей, врагов, самих себя. А тут уж засвистели над водой винтовочные пули.

Был страшный миг, когда тяжёлая мина ударила в борт небольшого парома, блеснуло пламя, тёмным дымом закрыло паром, послышался звук взрыва и протяжный, точно родившийся из этого грохота, людской вскрик. И тотчас тысячи людей увидели, как среди покачивающихся на воде древесных обломков зеленеют тяжёлые стальные каски плывущих. Двадцать гвардейцев из сорока на пароме погибли.

Ночью переправа продолжалась, и никогда, пожалуй, сколько существует свет и тьма, люди так не радовались мраку сентябрьской ночи.

Генерал Родимцев провёл эту ночь в напряжённой деятельности. За время войны Родимцеву пришлось пройти через много испытаний. Его дивизия дралась под Киевом, она выбивала со Сталинки прорвавшиеся эсэсовские полки, она не раз разбивала кольцо окружения, переходя от обороны к бешеным атакам. Темперамент, сильная воля, спокойствие, быстрота реакции, уменье наступать, когда всякому другому кажется, что о наступлении мечтать нельзя, тактическая опытность и осторожность, сочетающиеся с тактическим и личным бесстрашием, — черты военного характера молодого генерала. И характер генерала стал характером его дивизии.

Мне часто приходилось встречать в армии больших патриотов своего полка, батареи, танковой бригады. Но

нигде, пожалуй, не видел я такой привязанности, такого патриотизма, как здесь. Он носит трогательный и подчас несколько смешной характер. В дивизии гордятся, конечно, в первую очередь своими боевыми делами, гордятся своим генералом, своей техникой. Но если послушать командиров, то нигде нет такого повара, умеющего мастерски печь пирожки, такого парикмахера, как Рубинчик, который не только замечательно бреет, но и артистически играет на скрипке. «О, наша дивизия!» — только и слышишь во время разговоров. Когда кого-нибудь хотят пристыдить, говорят: «Что ты, ей-богу, делаешь, ведь в нашей-то дивизии...» Часто также слышишь: «Вот скажу генералу... генерал будет доволен, генерал будет огорчён». Ветераны, «фундаторы», как они себя называют, рассказывая о больших военных делах, обязательно вставят в разговор: «Да уж так повелось, наша дивизия всегда дерётся на самых ответственных участках». Раненые в госпиталях беспокоятся, как бы их не отправили в другую часть, пишут письма товарищам, а по выздоровлении часто проделывают долгий и трудный путь, лишь бы разыскать свою дивизию.

Может быть, в эту ночь, когда последние подразделения переправились в Сталинград, генерал подумал, что дружба, связывающая людей, поможет ему воевать в этой исключительно своеобразной и тяжёлой обстановке.

Действительно, трудно было бы придумать более сложную и неблагоприятную картину начала боя. Дивизия, вступая в Сталинград, разделялась на три части: во-первых, тылы её и тяжёлая артиллерия оставались на восточном берегу, отделённые от полков Волгой; во-вторых, полки, переправившиеся в город, тоже не могли держать сплошной линии фронта, так как немцы уже стояли между двумя полками, переправившимися в заводском районе, и полком, переправившимся ниже по течению, в центральной части города.

В самом городе положение было тяжёлым: немцы считали, что занятие Сталинграда вопрос дня, может быть,

часов. Главной силой обороны являлась, как часто это бывает в тяжёлые времена, наша артиллерия. Но немцы энергично и довольно успешно боролись с ней силами автоматчиков — условия города позволяли незаметно подкрадываться к пушкам и внезапными очередями выбивать расчёты. Немцы вот-вот собирались вырваться к берегу и опрокинуть нас в Волгу. Но недаром день и ночь шли в клубах пыли машины, недаром степь заволокло густым жёлтым дымом.

Наутро генерал Родимцев переправился в Сталинград на моторной лодке.

Дивизия сосредоточилась и была готова к бою.

Что должна была предпринять дивизия, вступившая в строй обороняющих Сталинград войск? Дивизия, тыл которой находился за Волгой, командный пункт в пяти метрах от воды, а один полк был «отжат» немцами от остальных полков. Занять оборону, начать срочно окапываться, укрепляться в домах? Нет, не это. Положение было настолько тяжёлым, что Родимцев прибёг к иному, грозному, уже испытанному им под Киевом, средству — он начал наступать! Наступать всеми полками, всеми средствами своего могучего огня, всей силой своего умения, всей стремительностью. Он начал наступать всей силой горького гнева, охватившего тысячи людей, увидевших в красном свете восходящего солнца тяжко израненный немцами город, с его белыми домами, чудесными заводами, широкими улицами и площадями.

Солнце восхода, словно огромный, налившийся кровью скорби и гнева, глаз, смотрело на бронзового Хользунова, на орла с одним простёртым крылом над обвалившимся зданием детской больницы, на белые фигуры наших юношей, выделяющиеся на бархатно-чёрном фоне покрывшегося копотью пожара Дворца физкультуры, на сотни молчавших, ослеплённых домов. И такими же, налитыми кровью гнева и скорби, глазами смотрели на изуродованный немцами город тысячи людей, переправившиеся через Волгу. Немцы не ожидали наступления, немцы настолько были

уверены в том, что, методически отжимая наши войска к берегу, сбросят их в Волгу, что прочно не закрепляли занятого пространства. Гвардейский полк Елина и два других штурмовали занятые немцами районы города. Они не ставили себе первой целью соединиться, первой их целью было бить противника, отнять у него то, что создавало выгодные условия немецких позиций, — возможность просматривать берег и Волгу, контролировать центральную переправу. Полк Елина пошёл на штурм, не видя двух своих товарищей-полков. Но полк чувствовал и верил, что он не один принял тяжкий жребий. Он чуял дыхание двух гвардейских полков близко, рядом, возле себя. Он слышал их тяжкую поступь, грохот их артиллерии звучал, как братские голоса, дым и пыль сражения, взметнувшиеся высоко в воздух, говорили о движении гвардии вперёд, пикировщики, словно потревоженные галки, вились с утра до вечера над дерущимися батальонами гвардейцев.

Полк Елина штурмом взял огромные здания — опорные пункты немцев.

Никогда ещё не приходилось вести таких боёв. Здесь все общепринятые понятия сдвинулись, сместились, словно в город над Волгой шагнули леса, степные овраги, горные кручи и ущелья, равнинные холмы. Здесь словно воедино собрались особенности всех театров войны от Белого моря до Кавказских гор. Одно отделение в течение дня переходило из-за кустарников и деревьев, напоминающих рощи Белоруссии, в горную расщелину, где в полумраке нависающих над узким переулком стен приходилось пробираться по каменным глыбам обвалившегося брандмауэра, ещё через час оно выходило на залитую асфальтом огромную площадь, во сто крат более ровную, чем донская степь, а к вечеру ему приходилось ползти по огородам, среди вскопанной земли и полуобгоревших поваленных заборов, совсем, как в дальней курской деревеньке. И эта резкая смена требовала постоянного напряжения командирской мысли, быстрой перестройки всех приёмов боя. А иногда



часами длились упорные штурмы домов, бои происходили на подступах, у стен дома, в заваленных кирпичом полуразрушенных комнатах и коридорах, где сражающиеся путались ногами в сорванных проводах, среди измятых остовов железных кроватей, кухонной и домашней утвари. И эти бои не были похожи ни на один театр от Белого моря до Кавказа.

В одном здании немцы засели так прочно, что их пришлось поднять на воздух вместе с тяжёлыми стенами. Шесть сапёров под лютым огнём чующих смерть немцев поднесли на руках десять пудов взрывчатки. И когда на миг представишь себе эту картину: лейтенанта сапёра Чермакова, двух сержантов — Дубового и Бугаева, сапёров Клименко, Шухова, Мессерашвили, ползущих под огнём вдоль разрушенных стен, каждого с полуторапудовым запасом смерти, когда представишь на миг их потные, грязные лица, их потрёпанные гимнастёрочки, представишь, как сержант Дубовой крикнул: «Не дрейфь, сапёры!» и Шухов, кривя рот, отплёвывая пыль, отвечал: «Где уж тут! Дрейфить раньше надо было!» — то, право же, чувство великой гордости охватывает. Ведь какие молодцы!

А пока Елин победоносно занимал здание за зданием, другие два полка штурмовали курган, с которым многое связано в истории Сталинграда, курган, известный со времён гражданской войны, курган, на котором играли дети, гуляли влюблённые, где катались зимой на санях и на лыжах. Место, которое на русских и немецких картах обведено жирным кружком. Место, о занятии которого немецкий генерал Тодт, вероятно, сообщил радостной радиограммой германской ставке. Там оно значится как «господствующая высота, с которой просматривается Волга, оба её берега и весь город». А на войне то, что просматривается, то и простреливается. Страшные эти слова — «господствующая высота». Её штурмовали гвардейские полки.

Много хороших людей погибло в этих боях. Многих

не увидят матери и отцы, невесты и жёны. О многих будут вспоминать товарищи и родные, вздыхать знакомые. Много тяжёлых слёз прольют по всей России о погибших в боях за курган. Не дёшево далась гвардейцам эта битва. Красным курганом назовут его. Железным курганом назовут его — весь покрылся он колючей чешуёй минных и снарядных осколков, хвостами-стабилизаторами германских авиационных бомб, тёмными от пороховой копоти гильзами, рубчатыми рваными кусками гранат, тяжёлыми стальными тушами развороченных германских танков. Но пришёл славный миг, когда боец Кентя сорвал немецкий флаг, бросил его оземь и наступил на него сапогом.

Полки дивизии соединились. Невиданно тяжёлое наступление, начатое с берега Волги, чуть ли не от самой воды, завершилось успехом. Этим как бы закончился первый период боевой работы дивизии в Сталинграде. Этот период принёс дивизии большой успех. Фронт, занятый её полками, сплошной линией прошёл по выгодным и устойчивым рубежам. Люди обогатились в этих боях огромным, бесценным опытом, который нельзя было почерпнуть ни в одной академии мира, ибо мир, сколько он стоит, не знал таких боёв, как эти: войска с танками, артиллерией, миномётными полками, поддерживаемые мощными воздушными силами, сражались на улицах и площадях огромного города. В этих боях сотни и тысячи людей, бойцов и командиров, узнали, что такое борьба за многоэтажный дом, связисты научились тянуть провод не шлейфом, а отдельными линиями вдоль стен домов, с обходной, запасной. В этих боях по-настоящему поняли значение радиосвязи, сапёры познали, как нужно минировать и разминировать улицы и переулки. Вероятно, боец Хачетуров, сумевший под огнём обезвредить сто сорок две германских мины, мог бы читать лекции по этому вопросу. Бойцы и командиры полной мерой измерили ценность в уличных боях миномётов, противотанковых пушек, ручных гранат, противотанковых ружей. Они научились маскировать в домах, подвалах могучую тех-

нику дивизии. По выражению командира полка майора Долгова, «гвардеец полюбил бутылку с горючей жидкостью».

Начался второй период тяжкой битвы — оборонительная война, с десятками внезапностей, мощными атаками немецких танков, жестокими налётами пикировщиков, контратаками наших подразделений, снайперская война, в которой участвуют все виды огня — от винтовки до тяжёлой пушки и пикирующего бомбардировщика; новый период со своим изумительным, странным, ни на что не похожим бытом. Ведь шли не только часы, шли дни и недели жизни в этом дымном аду, где ни на минуту не смолкали пушки и миномёты, где гул танковых и самолётных моторов, цветные ракеты, разрывы мин стали так привычны для города, как некогда были привычны дребезжанье трамвая, автомобильные гудки, уличные фонари, многоголосый гул тракторного завода, деловитые голоса волжских пароходов. И здесь ведущие битву создали свой быт — здесь пьют чай, готовят в котлах обеды, играют на гитаре, шумят, следят за жизнью соседей, беседуют. Здесь живут люди, чей характер, привычки, склад души и мысли — плоть от плоти народа, пославшего на трудный подвиг своих сыновей.

Мы пошли на командный пункт дивизии в девять часов вечера. Тёмные воды Волги освещало разноцветными ракетами, они на невидимых стеблях склонялись над истерзанной набережной, и вода казалась то шелковисто-зелёной, то фиолетово-синей, то вдруг становилась розовой, словно вся кровь великой войны впадала в Волгу. Со стороны заводов слышалась печать автоматов, орудийные залпы освещали белыми зарницами тёмные трубы, и на миг казалось, что завод работает по-обычному, что это печатают ночные бригады клепальщиков, что голубоватые вспышки автогена освещают заводские корпуса и трубы.

Пронзительно тонко свистел ночной воздух, разрезаемый пулями, отвратительно злорадно шипели герман-

ские мины, оскверняя волжский простор треском разрывов. В свете ракет видны разрушенные постройки, изрытая окопами земля, лепящиеся вдоль обрыва и оврагов блиндажи, глубокие ямы, прикрытые от непогоды кусками жести и досками.

— Слышь, обед приносили? — спрашивает боец, сидящий у входа в блиндаж.

Из темноты отвечает голос:

— Давно пошли, а вот нет их обратно. Либо залегли где, либо не дойдут уже вовсе. Сильно очень бьёт около кухонь.

— Вот паразит, обедать охота, — недовольно говорит сидящий и зевает.

Командный пункт дивизии размещён в глубоком подвале, напоминающем горизонтальную штольню каменноугольной шахты; штольня выложена камнем, креплена брёвнами, и, как в заправской шахте, по дну её журчит вода.

Здесь, где все понятия сместились, где продвижение на метры равносильно многокилометровым боевым движениям в полевых условиях, где иногда расстояние до засевшего в соседнем доме противника измеряется двумя десятками шагов, естественно, сместилось и взаиморасположение командных пунктов дивизии. Штаб дивизии находится в двустах пятидесяти метрах от противника, соответственно расположены командные пункты полков и батальонов. «Связь с полками в случае прорыва, — шутя говорит работник штаба, — легко поддерживать голосом, крикнешь — услышат. А оттуда голосом в батальон передадут». Но обстановка командного пункта такая же, как обычно, — она не меняется, где бы ни стоял штаб: в лесу, во дворце, в избе. И здесь, в подземелье, где всё ходит ходуном от взрывов мин и снарядов, сидят, склонившись над картой, штабные командиры, и здесь связист кричит: «Луна, луна!», и здесь, скромно держа в рукаве махорочную папиросу и стараясь не дышать в сторону начальства, сидят в углу связные. И сразу же здесь, в

штольне, освещённой бензиновыми лампочками, чувствуется, что к одному человеку тянутся все нити проводов из разрушенных домов, заводиков, мельниц, занятых гвардейской дивизией, что к одному человеку обращены вопросы командиров, что один человек определяет строй жизни гвардейцев.

Голоса людей спокойны, подчас медлительны, движения неторопливы, часто видишь улыбающиеся лица, часто слышится смех. Люди с тренированной в боях волей ведут себя так, словно им легко, словно они шутя, без усилий творят самое трудное, самое тяжёлое дело на земле. А ведь в штольне душно: когда входит сюда свежий человек, крупные капли пота сразу же выступают у него на висках, на лбу, он дышит часто и прерывисто. В штольне, словно у основания плотины, сдерживающей страшный напор рвущихся к Волге вражеских сил, пол, стены, потолок — всё дрожит от напряжения, от тяжести взрывов бомб и ударов снарядов дребезжат телефоны, пляшет пламя в лампах, и огромные неясные тени судорожно движутся на мокрых каменных стенах. А люди спокойны — они здесь, в этом горниле, были вчера, были месяц назад, будут завтра. Сюда несколько ночей назад прорвались немцы и бросали под откос ручные гранаты — пыль, дым, осколки летели в штольню, из тьмы доносились выкрики команды на чуждом, дико звучащем здесь, на волжском берегу, языке. И командир дивизии Родимцев оставался в этот роковой час таким же, как всегда: спокойным, с немного насмешливой речью, каждым размеренным своим словом закладывающий увесистый камень в пробитую вражеской силой плотину. И вражеская сила отхлынула.

Дивизия вошла в ритм битвы. Дыхание людей, биения сердец, короткий сон, приказы начальников, стрельба орудий, пулемётов, противотанковых ружей — всё находится в ритме битвы. Это, наверное, самое трудное, — думается мне, — в этих внезапных налётах пикирующих бомбардировщиков, в ночных и дневных штурмах фашисткой пехоты, в стремительных наскоках десятков

танков, вдруг появляющихся то на рассвете, то в три часа дня, в убаюкивающем ложном спокойствии вечерних сумерек — обрести чувство ритма. Ритм бури! Ритм сталинградской битвы!

Родимцев рассказывает мне о том, что в недавнем ночном штурме участвовали немецкие сапёры.

Он говорит негромко и задумчиво, а ложечка на самодельном столе пляшет, подпрыгивает, точно её охватил страх и она хочет убраться из этой гудящей штольни с мечущимися по стенам мутными тенями. Стрекотнул автомат, звук его хорошо слышен здесь.

— Вот это немец, — говорит Родимцев.

Он рассказывает обстоятельно, не торопясь.

— Война здесь подвижная, гибкая, — говорит он. — Она то ночная, то дневная, то танковая, а бывает, что и танки, и авиация, и огневые налёты артиллерии и миномётов концентрируются в одной точке. Немец нарочно меняет тактику. Но мы за месяц отлично научились воевать в этих условиях. Действуем большей частью мелкими группами. Во взятии дома у нас участвуют две группы: штурмовая и закрепления. Штурмуют люди, вооруженные гранатами, бутылками с горючей жидкостью, ручными пулемётами. А группа закрепления, пока ещё штурмовая добивает противника, подтягивает боеприпасы, продовольствие, запасец не меньше, чем на шесть дней, ведь часты случаи окружения. Вот сегодня пришли два бойца, — оказывается, четырнадцать дней воевали в доме, окружённом «немецкими» домами. Эти двое спокойно эдак потребовали сухарей, боеприпасов, сахару, табаку, нагрузились и пошли, говорят: у нас там двое остались, дом стерегут, курить хотят. Вообще война в домах — своеобразнейшее дело. Особенность этой войны в Сталинграде — резкие, почти мгновенные изменения тактики да и всего характера боёв. То борьба за один дом, то вот, как недавно, — два полка немецкой пехоты и семьдесят танков внезапно обрушиваются на полк Панихина, и эдак десять-двенадцать атак в день.

Я спросил его, не утомлён ли он этим круглосуточным напряжением боёв, этим круглосуточным грохотом, этими сотнями немецких атак, которые были ночью, вчера днём, будут завтра.

— Я спокоен, — сказал он, — так нужно. Я уж, пожалуй, всё видел. Как-то мой командный пункт утюжил немецкий танк, а после автоматчик для верности бросил гранату, я эту гранату выкинул. И вот вышел, воюю и буду воевать до последнего часа войны.

Он сказал это спокойно, негромким голосом. Потом он стал расспрашивать о Москве. Поговорили, как полагается, о театрах.

— У нас тут тоже были два концерта — играл на скрипке парикмахер Рубинчик.

И все вокруг заулыбались, вспомнив о концерте. А телефоны за время этого разговора звонили раз десять, и генерал, чуть-чуть поворачивая голову, говорил два-три слова дежурному по штабу.

Заместитель генерала, полковник Борисов, отдавал последние распоряжения перед штурмом одного из домов, занятого немцами. Этот пятиэтажный дом имел большое значение: из его окон немцы просматривали Волгу и часть берега.

План штурма меня поразил множеством деталей, сложностью разработки. На аккуратно сделанном чертеже был нанесен дом и все соседние постройки. Условные значки показывали, что во втором этаже в третьем окне находится ручной пулемёт, на третьем этаже в двух окнах сидят снайперы, а в одном расположен станковый пулемёт, — словом, весь дом был разведан по этажам, по окнам, по чёрным и парадным подъездам. В штурме этого дома участвовали миномётчики, гранатомётчики, снайперы, автоматчики, в этом штурме участвовала полковая артиллерия и мощные пушки, находившиеся на том берегу, в заволжьи. У каждого рода оружия была своя задача, строго сопряжённая с общей целью; взаимная связь, управление осуществлялись системой световых сигналов,

по радио, телефонами. Ведущая мысль этого наступления была одновременно простой и сложной: цель была бы ясна ребёнку, а пути к этой цели казались настолько сложными, что только большой военной грамотностью можно было их преодолеть.

Глубокой ночью мы ехали вдоль Сталинграда на моторной лодке. Шесть километров дороги, несколько десятков минут по широкой волжской воде.

Волга кипела, синий пламень разрывов германских мин вспыхивал на волнах, выли несущие смерть осколки, угрюмо гудели в тёмном небе наши тяжёлые бомбардировщики; сотни светящихся трасс, окрашенных в синий, красный, белый цвета, тянулись к ним от германских зенитных батарей, бомбардировщики изрыгали по немецким прожекторам белые трассы пулемётных очередей. Заволжье, казалось, потрясало всю вселенную могучим рокотаньем тяжёлых пушек, всей силой великой нашей артиллерии. На правом берегу земля дрожала от взрывов, широкие зарницы бомбовых ударов вспыхивали над заводами: земля, небо, Волга — всё было охвачено пламенем. И сердце чуяло — здесь идёт битва за судьбы мира, здесь решается вопрос всех вопросов, здесь спокойно, торжественно среди пламени сражается наш народ.

20 сентября 1942 года





ВЛАСОВ

Днём Волга пустынна, лишь темнеют силуэты потопленных у берега барж и пароходов. Ни лодки, ни дымка, ни натруженного дыхания буксира, ни рыбачьего серого паруса не увидишь и не услышишь на Волге. Тёмная вода бежит под облачным небом, холодом веет от неё. Низкий берег, поросший лесом, так же пустынен, как Волга. Но почему с такой яростью, с упорством взбесившегося быка немец уродует тысячами тяжёлых снарядов и мин пустынную полоску берега, почему с утра до заката солнца вьются над этой бедной полоской земли десятки немецких пикировщиков, с угрюмым бешенством бомбят кажущуюся пустой землю?

Здесь переправа. И, едва сгущаются сумерки, из землянок, блиндажей, траншей, из тайных укрытий выходят люди, держащие переправу. Это по ним немцы в последние недели выпустили восемь тысяч мин и пять тысяч снарядов, это на них обрушилось за полторы недели пятьсот пятьдесят авиационных бомб. Земля на переправе вспахана злым железом, словно безумные кони, ведомые обезумевшим пахарем, дни и ночи коверкали, рвали, карёжили

огромными лемехами плуга бедный клочок прибрежной земли.

В сумерках появляется тёмный высокий силуэт негруженой баржи. Хозяйским хриплым баском покрикивает буксирный пароходик. Словно по чьему-то слову чудесно оживает всё вокруг, жужжат буксующие в песке грузовики, красноармейцы, покряхтывая, несут плоские ящики со снарядами, бутылками с горючей жидкостью, патроны, гранаты, хлеб, сухари, колбасу, пакеты пищевых концентратов. Баржа оседает всё ниже и ниже. А немецкий огонь не прекращается ни на минуту. Но теперь он не прицельный, наблюдатели противника не видят, что происходит на берегу, не видят тёмной шири реки. Мины со свистом перелетают через Волгу, рвутся, освещая на миг красными вспышками деревья, холодный белый песок. Осколки, пронзительно голося, разлетаются вокруг, шуршат меж прибрежной лозы. Но никто не обращает на них внимания.

Погрузка идёт стремительно, слаженная, великолепная своей будничностью. Под огнём немецких миномётов и артиллерии люди работают, как работали всегда на Волге: тяжело и дружно. Их работа освещена пламенем горящего Сталинграда. Ракеты поднимаются над городом, и в их стеклянно-чистом свете меркнет мутное дымное пламя пожаров. Тысяча триста метров волжской воды отделяют причалы лугового берега от Сталинграда. Не раз слышали бойцы понтонного батальона, как в короткой тишине над Волгой проносился приглушённый, кажущийся издали печальным, звук человеческих голосов: «а-а-а...» — то поднималась в контратаку наша пехота. Это протяжное «ура» пехоты, дерущейся в пылающем Сталинграде, этот вечный огонь, дымное дыхание которого доходило через широкую воду, придавали бойцам переправы силу творить свой суровый подвиг, в котором воедино слились тяжкая будничная работа русского рабочего с доблестью солдата. Все они понимали значение своего труда. Переправа питает сталинградские дивизии хлебом и снаряжением. Танки, полки пополнений, всё идёт через переправу. И

переправа работает: идут к Сталинграду баржи, лодки, тральщики, моторные катеры. Работал до последнего времени штурмовой мостик, наведенный с острова на правый берег Волги. Его строили у берега; стук сотен топоров и визг пил, режущих сосновые и еловые брёвна, заглушал в людских сердцах тревогу, трудовой гул покрывал шум германских воздушных моторов, раскаты артиллерийской стрельбы. Люди за трое суток построили мост через Волгу — шестьдесят пять станов плотов с двумястами балками-поперечинами были скреплены цинковым тросом, прочными планками, покрыты тёсом.

Мост завели верхним концом по течению, и вода стала заносить его на правый берег. Шесть человек внесли на мост пятнадцатипудовый якорь. И когда мост стал подходить к правому берегу, якорь спустили в воду. Штурмовой мостик лёг через Волгу. Вероятно, из того количества металла, которое потратили немецкие лётчики, артиллеристы и миномётчики на разрушение этого штурмового мостика, сделанного из сосны и ели, можно было бы создать конструкцию огромного железного моста. Тем мужеством, тем самопожертвованием, тяжёлым трудом, которые проявили бойцы понтонного батальона при восстановлении разрушаемых немцами пролётов штурмового мостика, держится связь страны с борющимся Сталинградом. Эта связь прочна и нерушима, ей порукой солдатская кровь и большие трудовые руки.

Бойцы понтонного батальона все почти ярославцы. Живут ярославцы на редкость дружно, большим братским землячеством.

Заместитель командира батальона по политической части Перминов, сам волгарь, человек с тёмнокрасным от солнца и речного ветра лицом, находится на переправе с первого дня. Голос у него громкий, привыкший к команде, привыкший перекрикивать грохот рвущихся снарядов, он даже во время бесед говорит, словно команду отдаёт.

— Эх, люди у нас в батальоне, — говорит Перминов, —

золото-люди. Гордятся: мы — ярославцы. Недавно в газете статья была большая о Ярославле, так эту газету вконец зачитали, собрание устроили — обсуждали. Как петухи гордятся: «Про наш Ярославль как пишут!» И вот удивительная вещь: ведь работа на переправе — горькое дело, последние дни авиация тучей над нами висит, — поверите ли, за один день насчитали мы тысячу восемьсот заходов,— глохнешь от этого воя и рёва, а люди так любят свой батальон, так своей работой гордятся, что, заикнись только об откомандировании человека, — трагедия будет. Эвакуировали мы на-днях в тыл двух раненых красноармейцев — Волкова и Лукьянова, особенно досталось Волкову: в шею ему осколок попал и лопатку рассекло. Проходит несколько дней. Зовут меня красноармейцы: Волков и Лукьянов явились! Я глазам своим не поверил: ведь тридцать километров то попутными машинами, то ползком добирались. И как-то трогательно до слёз, и зло берёт: ведь удрали, черти, из госпиталя. Что с ними тут делать, — их ведь лечить надо, а под огнём, в земле сидя, какое лечение? Дождались ночи, посадили их на машину и обратно отправили в госпиталь. И они от обиды плакали, и у нас всех такое чувство было, словно мы нехорошее дело сделали. Да, народ привык к вечному огню, сам удивляешься.

Днём переправа не работает. Днём безлюден берег, пустынна Волга, тёмная вода бежит под облачным осенним небом, — холодом веет от неё. Лишь изредка промчится среди бурунов пены, резко меняя курс, быстроходный моторный катер с мощным зисовским мотором. Гудит берег от бомбовых разрывов, летят в воздух тучи земли, дыма, жёлтая листва осенних деревьев. Зловеще свистят над водой мины, пущенные из тяжёлых немецких миномётов.

С рассветом понтонный батальон отдыхает. Похрапывают в блиндажах и землянках бойцы под оглушительный рев немецкой авиации, с тупым бешенством карёжащей землю.

— Как можно спать при такой бомбёжке? — спрашиваю я бойцов.

— Да вот спим, — говорят понтонёры, — день не поспишь, второй не поспишь, а потом ляжешь. Да поустанешь как следует и всё равно заснешь.

Люди на этом раскалённом берегу, зарывшись в землю, не изменяют чудесному строю своей простой души. Когда читаешь воспоминания о войне французов, англичан, американцев, все они пишут, что на войне, в бою, они становятся иными, что весь душевный мир их изменяется, что они переоценивают все ценности, что казавшееся им дорогим и близким вдруг становится ненужным, смешным.

А русский человек, воюющий в пламени горящего, сотрясаемого взрывами Сталинграда, — такой же неизменный, ясный, простой, бесконечно скромный, каким знаем мы его и в великом мирном труде. Так же бережно хранит он письма, пришедшие из дальних деревень, так же любовно говорит о ребятишках своих и стариках, покурит, вздохнёт, задумается, когда ему не в меру тяжело, кипятит чаёк среди развалин дома, окружённого немецкими автоматчиками, и верит в то, что добро есть добро, что нет ничего сильнее в жизни, чем правда.

И здесь на переправе идёт во время дневного отдыха обычная прекрасная своей святой будничностью жизнь. Кухни, зарытые в землю, варят обед, русская печь, хитро и умело построенная в земле, печёт пышный, лёгкий подовый хлеб, и пекари посмеиваются, гордятся своим отличным мастерством. Бойко работает подземная баня, и отчаянно парятся в ней, лупцуют себя вениками сорокалетние бойцы сталинградской переправы, пока вокруг них, совсем рядом, рвутся тяжёлые бомбы немецких пикировщиков. При слабом свете, проникающем в блиндаж, пишут бойцы письма, не забывают послать поклон всей близкой и дальней родне, чтоб не дай бог не обидеть невниманием деда Ивана Дмитриевича или бабку Марию Семёновну. А о себе пишут в этих письмах сурово и кратко: «Живу хорошо. Пока жив».

И ничто не изменит справедливого отношения бойца к жизни.

Немцы неистовствуют над полосой волжского берега. Немецкие лётчики разнесли прямым попаданием бомбы русскую печь, где пёкся хлеб, но печь снова отстроили. Воздушной волной снесло трубу с бани, но снова дымит труба и парится в бане ярославец. В блиндаж заместителя командира батальона вбежал повар и одновременно весёлым и злым голосом крикнул:

— Разрешите доложить: кухня во второй роте взлетела, вся чисто, вместе со щами. Двухсоткой, прямое попадание!

— Не медля варить второй обед в котле, — сказал Перминов.

Жизнь упряма, крепок наш человек, — его не сломать всей силой немецкого огня. Но тяжело ему, пусть никто не думает, что легко здесь воевать, что привычка к огню снимает тяжесть войны. Смерть идёт рядом с жизнью, дороги их здесь слились. Недалеко от штаба — кладбище. Среди жёлтых опавших листьев стоят строгие холмики — могилы, простые дощатые памятники с фамилией, именем, датой смерти.

Когда-нибудь здесь будет стоять суровый и тёмный гранитный обелиск, памятник героям сталинградской переправы. И люди прочтут на нём имена двадцати восьми бойцов-ярославцев, прочтут имя комбата Смеречинского, основателя переправы, прочтут имя его преемника — чеченца капитана Езаева, прочтут о Шоломе Аксельроде, командире технического взвода, убитом миной при наведении переправы. И людям расскажут, как в тёмные ночи, как при свете полной луны, когда Волга горела синим огнём, молча стоял у раскрытой могилы батальон, какую речь говорил бойцам Перминов и как сурово гремел в холодном осеннем воздухе салют.

Часто бывает, что один человек воплощает в себе все особенные черты большого дела, большой работы, что события его жизни, черты его характера выражают собой

характер целой эпопеи. И, конечно, именно сержант Власов, великий труженик мирных времён, шестилетним мальчиком пошедший за бороной, отец шестерых старательных, небалованных ребят, человек, бывший первым бригадиром в колхозе, — и есть выразитель суровой и будничной героичности сталинградской переправы.

В этом высоком человеке, с темнокоричневым узким горбоносым лицом, с тонкими губами и большими, тяжёлыми кистями рук, воплотились многие черты народного характера. Власов — человек долга. В колхозе народ в его бригаде покряхтывал иногда — очень уж суров был этот никогда не улыбающийся темнолицый человек с карими, тяжело и яростно глядящими глазами. Дома ребята побаивались отца, бывал он строгонек с ними, и даже старший сын, служащий теперь в гвардии, робел, когда Павел Власов говорил ему: «Алексашка, гляди у меня, я не баловал в жизни, не вильнул ни разу, и ты не балуй!»

Власов был колхозным казначеем, на руках у него хранились большие тысячи. Когда колхоз сплавлял лес по Волге, Власова избрали главным бригадиром на плотах, — уж больно хорошо знали его плотовщики. Получив извещение из военкомата, Власов пошёл в правление, сдал все деньги до копейки, отчитался в своей бригадирской работе, простился со стариками и сказал, уходя: «Работал я честно, в колхозе не последним был, а убьют на войне, за мной долгов не останется, во всём отчитался». Дома он простился с семьёй просто и сурово, словно уходил в поле или лес заготовлять, велел детям слушаться мать, писать, как справляются с работой.

Провожали его родные без водки, без песен, — Власов не пил вина. Взял он в мешок смену белья, стираных портянок, хлеба, десяток луковиц, соли и пошёл в ночь, высокий, прямой, с плотно сжатыми губами, пошёл, не оглянувшись на родную деревню, — человек могучей души, ни разу не слукавивший перед народом и самим собой, жестоко и неистово требовательный к другим и к себе. Такие суровые души выковываются тяжким молотом

векового труда, и можно было бы их назвать жесткими, не будь они столь бескорыстно преданы правде, труду и долгу. Таких людей, как Власов, не мало в нашем народе, и вряд ли думали немцы о них, начиная поход против России, — эту железную породу невозможно ни согнуть, ни сломать. Они, Власовы, — выразители не доброты и мягкости народного характера, они — носители суровости, непримиримости, неистребимой, неистовой силы русской народной души.

И вот сержант Власов строит штурмовой мостик от острова к заводскому берегу. Трое суток, семьдесят пять часов, не спал он, не ел щей, лишь торопливо во время короткой передышки съедал ломоть хлеба, запивал его несколькими глотками волжской воды и вновь брался за топор. В этой исступлённой, жестокой работе узнали Власова бойцы его отделения, товарищи по походам и боевым трудам, живущие с ним в одном блиндаже, — Мальков, Лукьянов, Новожилов, узнали все бойцы понтонного батальона, научились любить и уважать суровую, железную силу его. Не только любить, но и бояться её.

Здесь, на волжской переправе, во всю высоту распрямилась фигура Власова. В долгие осенние ночи, глядя на сумрачные лица бойцов, переправляющихся через Волгу, на тяжёлые танки и пушки, проблескивающие в свете горящих нефтехранилищ, глядя на сотни раненых в рыжих от пропитавшей их крови, изодранных осколками шинелях, прислушиваясь к мрачному вою германских мин и к далёкому протяжному «ура» нашей пехоты, поднимающейся на контратаки, думал Власов одну тяжёлую, большую думу.

Вся сила его духа обратилась к одной цели: держать переправу нашего войска. Это дело было свято. Это дело стало единственной целью, смыслом его жизни. И всякий человек, мешавший работе переправы, становился для Власова смертным врагом, будь он хоть сын ему, хоть брат.

Был такой случай. Немец разбил пристань на правом берегу. Власову с его отделением приказали на быстро-

ходном моторном катере переправиться через Волгу, исправить причал. День был ясный, светлый, и немец, едва увидев катер, открыл огонь, — вода вскипала от частых разрывов.

Шофер-моторист Ковальчук изменил курс, причалил к острову и сказал:

— Вылезайте, на тот берег не пойду, мне жизнь дороже разных там причалов.

Как только ни просил, ни уговаривал его Власов!

— Вылазь к чертям собачьим, — кричал Ковальчук, — я на переправе работать не буду, лучше в плен попасть, чем здесь работать.

Власов рассказал мне об этом случае тяжёлыми, медленными словами. Вот дословно его рассказ:

— Знал бы я мотор, я бы его живо спешил... Весь день мы по острову, как зайцы, бегали. А обратно нас лодки с острова тоже не везут, — дезертиры вы, говорят. Пришлось хитрость делать — перевязали себя бинтами. Змеев, тот ногу подвязал, палку в руки взял. Перевезли под видом раненых. Такого со мной в жизни не было. Никогда я в жизни не хитрил. А переправа полночи не работала. Вот оно что... Через несколько дней выстроили батальон, вывели этого. Прочёл Перминов приговор, сказал слово про кровь сотен и тысяч бойцов. Стал этот проситься, плакал. Да какая тут жалость! Будь моя воля — я б его без приговора растерзал. Целый день, как заяц, бегал...

Тёмное лицо Власова спокойно и неподвижно, яркие карие глаза его смотрят прямо на меня, впалые щёки и упрямый рот придают всему облику его выражение скорбное и суровое. В нём, в этом сорокадвухлетнем человеке, отце шестерых детей, человеке великого и тяжкого трудового долга, словно воплотилась гневная сила нашего народа...

— Потом Перминов сказал: «Кто хочет привести приговор в исполнение?» Я вышел из строя, взял у товарища винтовку и пристрелил того. Какая тут жалость!

И вот сержант Власов стоит на носу тяжёлой баржи,

медленно плывущей через Волгу. На барже четыре тысячи тонн снарядов, гранат, ящиков с горючей жидкостью, на барже четыреста красноармейцев. Эта баржа идёт днём, положение таково, что некогда дожидаться ночи. Власов стоит, прямой, угрюмый, и смотрит на разрывы мин, пенящие воду.

Он оглядывает молодых бойцов, стоящих на барже. Он видит: людям страшно. И сержант Власов, человек с чёрными, начавшими серебриться, волосами, говорит молодому бойцу:

— Ничего, сынок. Хоть бойсь, не бойсь, — нужно!

Тяжёлая мина прошипела над головой и взорвалась в десяти метрах от баржи, несколько осколков ударилось о борт, и тотчас вторая мина разорвалась, не долетев.

— Сейчас угодит, подлец, по нас, — сказал Власов и посмотрел на бойцов, легших вдоль борта.

Мина пробила палубу недалеко от выезда, проникла в трюм и там взорвалась, расщепила борт на метр ниже воды. Наступил страшный миг. Люди заметались по палубе. И страшней вопля раненых, страшней тяжёлого топота сапог, страшней, чем разнесшийся над водой крик: «Тонем!», был глухой и мягкий шум воды, ворвавшейся в развороченный борт баржи. Катастрофа произошла посредине Волги. И в страшные минуты, когда в полуметровую дыру хлестала вода, когда страх смерти охватил людей, сержант Власов сорвал с себя шинель и страшным усилием, преодолевая напор воды, — плотной, словно стремительный свинец, сильной, словно вся Волга напружилась своим огромным, тяжким телом, чтобы прорваться в пробоину, — втиснул свёрнутую кляпом шинель в эту пробоину, навалился на неё грудью.

Несколько мгновений, пока подоспела помощь, длилось это единоборство человека с рекой. Пробоину забили. Власов уже был наверху, он перевалился всем телом за борт, сержант Дмитрий Смирнов держал его за ноги, а Власов, с лицом, налившимся тёмной кровью, шпаклевал мелкие пробоины паклей.

Обстрел продолжался. И едва баржа была спасена от потопления, как раздался крик: «Горит, пламя пошло!» — это загорелись бутылки с горючей жидкостью.

Власов, покоривший своей железной душой всех, кто был на барже, закричал:

— Скидай шинели, плащ-палатки сюда давай!

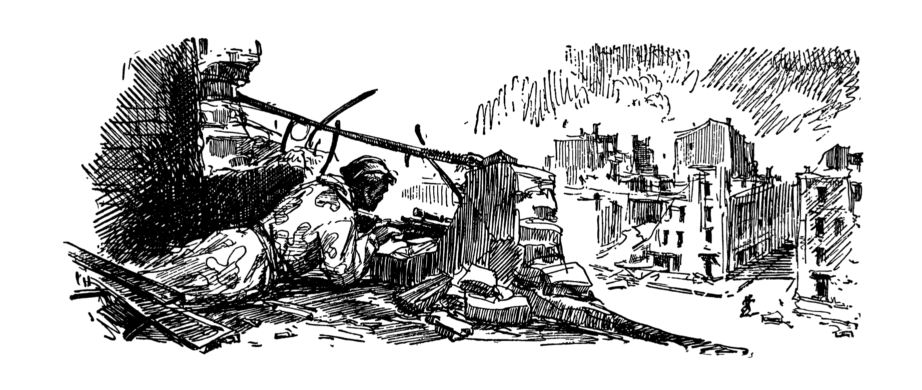
И пламя, сжигающее стальные танки, было потушено здесь, на барже, везущей четыре тысячи тонн боеприпасов.

Власов прошёл на нос и снова стал на посту.

Боеприпасы, четыреста бойцов достигли сталинградского берега.

1 ноября 1942 года





ГЛАЗАМИ ЧЕХОВА

Много дней и много ночей эти всевидящие глаза смотрят с пятого этажа разрушенного дома на город. Эти глаза видят улицу, площадь, десятки домов с провалившимися полами, пустые, мёртвые коробки, полные обманчивой тишины. Эти коричневые круглые, чуть жёлтые, чуть зеленоватые глаза, — не поймёшь, светлые они или тёмные, — видят далёкие холмы, изрытые немецкими блиндажами, они считают дымки костров и кухонь, машины и конные обозы, подъезжающие к городу с запада. Иногда бывает очень тихо, и тогда слышно, как в доме напротив, где сидят немцы, обваливаются небольшие куски штукатурки, иногда слышна немецкая речь и скрип немецких сапог. А иногда бомбёжка и стрельба так сильны, что приходится наклоняться к уху товарища и кричать во весь голос, и товарищ разводит руками, показывает: «не слышу».

Анатолию Чехову идёт двадцатый год. Он прожил невесёлую жизнь. Сын рабочего химического завода, этот юноша с ясным умом, добрым сердцем и недюжинными

способностями, обожавший книги, знаток и любитель географии, мечтавший о путешествиях, любимый товарищами, соседями, завоевавший неприступные сердца рабочих стариков своей готовностью помочь обиженному, он с десятилетнего возраста познал тёмные стороны жизни. Отец его пил, жестоко и несправедливо обращался с женой, сыном, дочерьми. Года за два до войны Анатолий Чехов оставил школу, где шёл по всем предметам круглым отличником, и поступил работать на казанскую фабрику. Он легко и быстро овладел многими рабочими специальностями, стал электриком, газосварщиком, аккумуляторщиком, незаменимым и всеми уважаемым мастером.

29 марта 1942 года его вызвали повесткой в военкомат, и он попросился в школу снайперов.

— Вообще я в детстве не стрелял ни из рогатки, ни из чего, жалел бить по живому, — говорит он. — Ну, я, хотя в школе снайперов шёл по всем предметам отлично, при первой стрельбе совершенно оскандалился — выбил девять очков из пятидесяти возможных. Лейтенант сказал мне: «По всем предметам отлично, а по стрельбе плохо. Ничего из вас не выйдет».

Но Чехов не стал расстраиваться, он добавил к дневным часам занятий долгое ночное время. Десятки часов подряд читал теорию, изучал боевое оружие. Он очень уважал теорию и верил в силу книги, он в совершенстве изучил многие принципы оптики и мог, как заправский физик, говорить о законах преломления света, о действительном и мнимом изображении, рисовать сложный путь светового луча через девять линз оптического прицела, он понял внутренний теоретический принцип всех приспособлений: и поворота дистанционного маховичка, и связи пенька, приподымающегося при прицеливании, с горизонтальными нитями... И объёмное, широкое, четырёхкратно приближенное изображение Чехов воспринимал не только глазами стрелка, но и физика.

Лейтенант ошибся — при стрельбе из боевого оружия

по движущейся мишени Чехов поразил «в головку» всеми тремя данными ему патронами маленькую юркую фигурку. Он кончил снайперскую школу отличником, первым, и сразу же попросился в часть добровольцем, хотя его оставили инструктором — учить курсантов и снайперской, и обычной стрельбе, и пользованию автоматом, различными гранатами. Так уж повелось, что в школе и на производстве, и в военном деле он легко и в совершенстве овладевал пониманием различных предметов.

Этому юноше, которого все любили за доброту и преданность матери и сестрам, не пулявшему в детстве из рогатки, ибо он «жалел бить по живому», захотелось пойти на передовую.

— Я хотел лишь стать таким человеком, который сам уничтожает врага, — сказал мне Чехов.

На марше он тренировал себя по определению расстояния без оптического прибора. Анатолий загадывал: «Сколько до того дерева?» — и шагами проверял. Сперва получалась полная ерунда, но постепенно он научился определять большие расстояния на-глаз с точностью до двух-трёх метров. И эта нехитрая наука помогла ему на войне не меньше, чем знание сложной оптики и законов движения луча через комбинацию девяти двояковыпуклых и вогнутых линз. Самый идиллический пейзаж научился он воспринимать как совокупность ориентиров: берёзки, кусты шиповника, ветряные мельницы стали для него местами, откуда мог появиться противник, и помогали быстро и точно повернуть дистанционный маховичок.

Первые свои сталинградские дни Чехов командовал пехотным отделением, а затем миномётным взводом. Чехов сам себе ставил задачи и сам остроумно и точно решал их, и в этих решениях ему приходилось напрягать не только свои сильные молодые руки и ноги, ясные совершенные глаза, но и думать — думать напряжённо, быстро, трудно, как, пожалуй, не случалось ему при решении самых сложных задач по физике и алгебре, ко-

торые любил для устрашения школяров закатывать педагог.

С первых же дней боёв он перестал воспринимать сражение как хаос огня и грохота, а научился угадывать, чего хочет противник.

— Было ли страшно в первые дни? Нет. У меня такое чувство было, что я учу бойцов маскироваться, стрелять, наступать, словно это и не война.

На фронте часто заводят разговор о храбрости. Обычно разговор этот превращается в горячий спор. Одни говорят, что храбрость — это забвение, приходящее в бою. Другие чистосердечно рассказывают, что, совершая мужественные поступки, они испытывают немалый страх и крепко берут себя в руки, заставляют усилием воли, подняв голову, выполнять долг, итти навстречу смерти. Третьи говорят: «Я храбр, ибо уверил себя в том, что меня никогда не убьют».

Многие считают, что источник храбрости — это привычка к опасности, равнодушие к смерти, приходящее под постоянным огнём. У большинства в подоснове мужества и презрения к смерти лежит чувство долга, ненависть к противнику, желание мстить за страшные бедствия, принесённые оккупантами нашей стране. Молодые люди говорят, что они совершают подвиги из желания славы, некоторым кажется, что на них в бою смотрят их друзья, родные, невесты. Один пожилой командир дивизии, человек большого мужества, на просьбу адъютанта уйти из-под огня, смеясь, сказал:

— Я так сильно люблю своих двух детей, что меня никогда не могут убить.

Я думаю, что спорить фронтовому народу о природе храбрости нечего. Каждый храбрец храбр по-своему. Велико и ветвисто могучее дерево мужества, тысячи ветвей его, переплетаясь, высоко поднимают к небу славу нашей армии, нашего великого народа.

Но если каждый отважный отважен по-своему, то

себялюбивая трусость всегда в одном: в рабском подчинении инстинкту сохранения своего живота. Человек, сегодня бежавший с поля боя, завтра выбежит из горящего дома, оставив огню свою старуху-мать, жену, малых ребят.

У Чехова увидел я ещё одну разновидность мужества, самую простую, пожалуй, самую «круглую», прочную: ему органически, от природы было чуждо чувство страха смерти — так же, как орлу чужд страх перед высотой.

Он получил свою снайперскую винтовку перед вечером. Долго обдумывал он, какое место занять ему — в подвале ли, засесть ли на первом этаже, укрыться ли в груде кирпича, выбитого тяжёлой фугаской из стены многоэтажного дома. Он осматривал медленно и пытливо дома переднего края нашей обороны — окна с обгоревшими лоскутами занавесок, свисавшую железными спутанными космами арматуру, прогнувшиеся балки межэтажных перекрытий, обломки трельяжей, потускневшие в пламени никелированные остовы кроватей. Его пытливый и совершенный глаз ловил и фиксировал все мелочи. Он видел велосипеды, висевшие на стенах над пропастью пяти обвалившихся этажей, он видел поблескивавшие осколки зеленоватых хрустальных рюмок, куски зеркала, порыжевшие и обгоревшие усы финиковых пальм на подоконниках, покоробившиеся куски жести, развеянные дыханием пожара, словно лёгкие листы бумаги, обнажившиеся из-под земли чёрные кабели, толстые водопроводные трубы — мышцы и кости города..

Чехов сделал выбор — он вошёл в парадную дверь высокого дома и по уцелевшей лестнице стал подниматься на пятый этаж. Местами ступени были раздроблены, на площадках лестниц, в прямоугольники сгоревших дверей видны были пустые коробки, этажи различались лишь по разной окраске стен: квартира второго этажа была розовой, третьего — темносиней, четвёртого — фисташковой с коричневой панелью. Чехов поднялся на площадку пятого этажа: это было то, что он искал. Обвалившаяся стена открывала

широкий обзор: прямо и несколько наискосок стояли занятые немцами дома, влево шла прямая широкая улица, дальше, метрах в шести-семистах, начиналась площадь. Всё это было немецким. Чехов устроился на лестничной площадке остроконечного выступа стены, устроился так, чтобы тень от выступа падала на него, — он становился совершенно невидим в этой тени, когда вокруг всё освещалось солнцем. Винтовку он положил на чугунный узор перил. Он поглядел вниз. Привычно определил ориентиры, их было немало. По пустынной улице шли два немецких солдата. Они остановились в ста метрах от того места, где сидел Чехов. Четыре минуты юноша смотрел на немцев. Он медлил. Это странное чувство нерешительности знакомо почти всем снайперам перед первым выстрелом. О нём рассказывал Чехову знаменитый Пчелинцев, приезжавший в школу снайперов и вспоминавший о своём первом снайперском, охотничьем выстреле по фашистскому солдату.

Вскоре наступила ночь. Голубое небо стало темносиним. Словно серые тихие покойники, стояли высокие обгоревшие дома. Взошла луна. Она стояла в небесном зените, большая, ясная, — толстое стальное зеркало танкиста, равнодушно отражающее жестокую картину битвы. Луна была медово-жёлтой, спелой, а свет её, словно отделившийся от мёда сухой белый воск, казался лёгким, не имеющим ни вкуса, ни запаха, ни тепла. Этот восковой белый свет тонкой плёнкой лёг на мёртвый город, на сотни безглазых домов, на поблескивающий, как лёд, асфальт улиц и площадей. Чехову вспомнились книги о развалинах древних городов, и страшная, горькая боль сжала его молодое сердце. Ему показалось, что он задыхается, так остро и мучительно было желание увидеть этот город свободным, вновь ожившим, шумным, весёлым, вернуть из холодной степи эти тысячи девушек, которые, кутаясь в шубки, ожидали на грейдере попутных машин; этих мальчишек и девчонок, со старческой серьёзностью провожавших глазами идущие в сторону Сталинграда

войска; этих стариков, кутающихся в бабьи платки; городских бабушек, надевших поверх кацавеек сыновьи пальто и шинелки.

Тень мелькнула по карнизу. Бесшумно прошла большая сибирская кошка, распушив хвост. Она поглядела на Чехова, глаз её засветился синим электрическим огнём. Где-то в конце улицы залаяла собака, за ней вторая, третья, послышался сердитый голос немца, пистолетный выстрел, отчаянный визг собаки и снова злобный, тревожный и дружный лай: это верные жилью псы мешали немцам шарить в ночное время по разрушенным квартирам. Чехов приподнялся, посмотрел: в тени улицы мелькали быстрые тёмные фигуры — немцы несли к дому мешки, подушки. Стрелять нельзя было — вспышка выстрела сразу же демаскировала бы снайпера. «Эх, чего наши смотрят?» — подумал с тоской Чехов, и сразу же, едва появилась у него эта мысль, где-то сбоку густо, с железной злобой заработал советский пулемёт. Чехов встал и осторожно, стараясь не хрустеть блестевшими при луне осколками стекол, стал спускаться вниз. В подвале здания разместилось пехотное отделение. Сержант спал на никелированной кровати, бойцы лежали на полуобгоревших обрывках плюшевых и шёлковых одеял. Чехову налили чаю в жестяную кружку, чайник только что вскипел, и края кружки обжигали рот. Есть Чехову не хотелось, и он отказался от пшённой каши, сидел на кирпичиках, рассматривал пепельницу с надписью «Жена, не серди мужа» и слушал, как в тёмном углу подвала красноармеец-сталинградец рассказывал о былой жизни: какие были кино, какие картины в них показывали, о водной станции, о пляже, о театре, о слоне из зоологического, погибшем при бомбёжке, о танцовальных площадках, о славных девчатах. И, слушая его, Чехов всё ещё видел перед собой картину мёртвого Сталинграда, освещённого полной луной. Он рано, с самых детских лет, познал тяжесть жизни. «Отец часто шумел, — мне и читать, и уроки учить трудно было, своего уголочка не имел», —

печально сказал он мне. Но в эту ночь он впервые во всей глубине понял страшную силу зла, принесённого немцами нашей стране, он понял, что малые горести и невзгоды ничто по сравнению с великой народной бедой. И его молодое доброе сердце стало горячим, оно жгло его.

Сержант проснулся, заскрипел пружинной кроватью и спросил:

— Ну что, Чехов, много на почин убил сегодня немцев?

Чехов сидел задумавшись, потом вдруг сказал бойцам, вернувшимся недавно из боевого охранения и налаживавшим патефон:

— Ребята, патефон сегодня я прошу не заводить.

Утром он встал до рассвета, не попил, не поел, а лишь налил в баклажку воды и положил в карман несколько сухарей и поднялся на свой пост. Он лежал на холодных камнях лестничной площадки и ждал. Рассвело, кругом всё осветилось, и так велика была жизненная сила молодого утреннего солнца, что даже несчастный город, казалось, печально и тихо улыбнулся. Только под выступом стены, где лежал Чехов, стояла холодная серая тень. Из-за угла дома вышел немец с эмалированным ведром. Потом уже Чехов узнал, что в это время солдаты всегда ходят с вёдрами, носят офицерам мыться. Чехов повернул дистанционный маховичок, поплыл кверху крест нитей, он отнёс прицел от носа солдата на четыре сантиметра вперёд и выстрелил. Из-под пилотки мелькнуло что-то тёмное, голова мотнулась назад, ведро выпало из рук, солдат упал на бок. Чехова затрясло. Через минуту из-за угла появился второй немец, в руках его был бинокль. Чехов нажал спусковой крючок. Потом появился третий — он хотел пройти к лежавшему с ведром, но он не прошёл. «Три», — сказал Чехов и стал спокоен.

В этот день много видели глаза Чехова. Он определил дорогу, которой немцы ходили в штаб, расположенный за домом, стоявшим наискосок, — туда всегда бежали солдаты, держа в руке белую бумагу — донесение. Он опре-

делил дорогу, по которой немцы подносили боеприпасы к дому напротив, где сидели автоматчики и пулемётчики. Он определил дорогу, которой немцы несли обед и воду для умывания и питья. Обедали немцы всухомятку — Чехов знал их меню, утреннее и дневное: хлеб и консервы. Немцы в обед открыли сильный миномётный огонь, вели его примерно тридцать-сорок минут и после кричали хором: «Русс, обедать!»

Это приглашение к примирению привело Чехова в бешенство. Ему, весёлому, смешливому юноше, казалось отвратительным, что немцы пытаются заигрывать с ним в этом трагически разрушенном, несчастном и мёртвом городе. Это оскорбляло чистоту его души, и в обеденный час он был особенно беспощаден. Он быстро научился отличать солдат от офицеров. У офицеров были тужурки, фуражки, они не носили поясного ремня, ходили в ботинках. Солдат он сразу отличал по сапогам, ремню, пилотке. Юный Чехов, любивший книги и географию, мечтавший о далёких путешествиях, нежный сын и брат, не стрелявший в детстве из рогатки — «жалел бить по живому», — стал страшным человеком: истребителем оккупантов. Не в этом ли железная, святая логика Отечественной войны?

К концу первого дня Чехов увидел офицера. Офицер шёл уверенно, изо всех домов выскакивали автоматчики, становились перед ним навытяжку. И снова Чехов повернул дистанционный маховичок, поплыл кверху крест нитей, офицер мотнул головой, упал боком, ботинками в сторону Чехова.

Чехов заметил, что ему легче стрелять в бегущего человека, чем в стоящего: попадание получалось точно в голову. Он сделал одно открытие, которое помогло ему стать невидимым для противника. Снайпер чаще всего обнаруживается при выстреле по вспышке, и Чехов стрелял всегда на фоне белой стены, не выдвигая дуло винтовки до края стены сантиметров на четырнадцать-двадцать. На белом фоне выстрел не был виден.

Он желал теперь лишь одного: чтобы немцы не ходили по Сталинграду во весь рост, он желал пригнуть их к земле, вогнать в самую землю. И он добился своего: к концу первого дня немцы не ходили, а бегали, к концу второго дня они стали ползать. Утренний солдат не пошел уже за водой для офицера. Дорожка, по которой немцы ходили за питьевой водой, стала пустынной, они отказались от свежей воды и пользовались гнилой, из котла. Вечером второго дня, нажимая на спусковой крючок, Чехов сказал: «Семнадцать».

В этот вечер немецкие автоматчики сидели без ужина. Чехов спустился вниз. Ребята завели патефон, ели кашу и слушали пластинку «Синенький скромный платочек». Потом все пели хором: «Раскинулось море широко». Немцы открыли бешеный огонь — били миномёты, пушки, станковые пулемёты. Особенно упорно «тыркали и гремели» голодные автоматчики. Они уже больше не кричали: «Русс, ужинать!»

Всю ночь слышны были удары кирки и лопаты — немцы копали в мёрзлой земле ход сообщения. На третье утро Чехов увидел множество изменений: немцы подвели две траншеи к асфальтовой ленте улицы — они отказались от воды, но хотели по этим траншейкам подтаскивать боеприпасы. «Вот я вас и пригнул к земле», — подумал Чехов. Он сразу увидел в стене дома напротив маленькую амбразурку. Вчера её не было. Чехов понял: «Немецкий снайпер». «Гляди», — шепнул он сержанту, пришедшему смотреть его работу, и нажал на спусковой крючок. Послышался крик, топот сапог — автоматчики унесли снайпера, не успевшего сделать ни одного выстрела по Чехову.

Чехов занялся траншеей. Немцы ползком пробирались до асфальта, перебегали асфальт и снова прыгали во вторую траншею. Чехов стал бить в тот момент, когда они вылезали на асфальт. Первый немец пополз обратно в траншею.

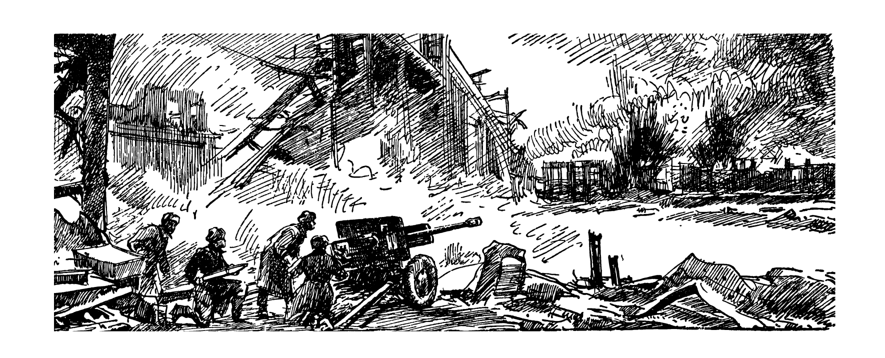
— Вот я и вогнал тебя в землю, — сказал Чехов.

На восьмой день Чехов держал под контролем все

дороги к немецким домам. Надо было менять позицию, немцы перестали ходить и стрелять. Он лежал на площадке и смотрел своими молодыми глазами на разрушенный немцами Сталинград, — юноша, жалевший бить «по живому» из рогатки, ставший железной и святой логикой Отечественной войны страшным человеком, мстителем.

16 ноября 1942 года





НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА

Ночью сибирские полки дивизии полковника Гуртьева заняли оборону. Всегда суров и строг вид завода, но можно ли найти в мире картину суровее той, что увидали люди дивизии в октябрьское утро 1942 года? Тёмные громады цехов, поблескивающие влагой рельсы, уже кое-где тронутые следами окиси, нагромождение разбитых товарных вагонов, горы стальных стволов, в беспорядке валявшихся по обширному, как главная площадь столицы, заводскому двору, холмы красного шлака, уголь, могучие заводские трубы, во многих местах пробитые немецкими снарядами. На асфальтированной площадке темнели ямы, вырытые авиационными бомбами, всюду валялись стальные осколки, изорванные силой взрыва, словно тонкие лоскуты ситца. Дивизии предстояло стать перед этим заводом и стоять насмерть. За спиной была холодная тёмная Волга. Ночью сапёры взламывали асфальт и в каменистой почве выдалбливали кирками окопы, в мощных стенах цехов прорубали боевые амбразуры, в подвалах разрушенных зданий устраивали убежища. Полки Маркелова и Михалева обороняли завод. Один из командных пунктов был устроен в бетонированном канале, проходив-

шем под зданиями главных цехов. Полк Сергеенко оборонял район глубокой балки, шедшей через заводские посёлки к Волге. «Логом смерти» называли её бойцы и командиры полка. Да, за спиной была ледяная и тёмная Волга, за спиной была судьба России. Дивизии предстояло стоять насмерть. Прошлая мировая война стоила России больших жертв и большой крови, но в первой мировой войне чёрная сила противника делилась между западным фронтом и восточным. В нынешней войне Россия приняла всю тяжесть удара германского нашествия. В 1941 году германские полки двигались от моря до моря. В нынешнем, 1942 году, немцы всю силу своего удара сконцентрировали в юго-восточном направлении. То, что в первую войну распределялось на два фронта великих держав, что в прошлом году давило на Россию, на одну лишь Россию фронтом в три тысячи километров, нынешним летом и нынешней осенью тяжким молотом обрушилось на Сталинград и Кавказ. Но, мало того, здесь, в Сталинграде, немцы вновь заострили своё наступательное давление. Они стабилизировали свои усилия в южных и центральных частях города. Всю огневую тяжесть бесчисленных миномётных батарей, тысячи орудий и воздушных корпусов обрушили на северную часть города, на стоящий в центре промышленного района завод «Баррикады».

Немцы полагали, что человеческая природа не в состоянии выдержать такого напряжения, что нет на земле таких сердец, таких нервов, которые не порвались бы в диком аду огня, визжащего металла, сотрясаемой земли и обезумевшего воздуха. Здесь был собран весь дьявольский арсенал германского милитаризма — тяжёлые и огнемётные танки, шестиствольные миномёты, армады пикирующих бомбардировщиков с воющими сиренами, осколочными, фугасными бомбами. Здесь автоматчиков снабдили разрывными пулями, артиллеристов и миномётчиков — термитными снарядами. Здесь была собрана германская артиллерия от малых калибров противотанковых полуавтоматов до тяжёлых дальнобойных пушек. Здесь

бросали мины, похожие на безобидные зелёные и красные мячики, воздушные торпеды, вырывающие ямы объёмом в двухъэтажный дом. Здесь ночью было светло от пожаров и ракет, здесь днём было темно от дыма горящих зданий и дымовых шашек германских маскировщиков. Здесь грохот был плотен, как земля, а короткие минуты тишины казались страшней и зловещей грохота битвы. И если мир склоняет головы перед героизмом русских армий, если русские армии с восхищением говорят о защитниках Сталинграда, то уже здесь, в самом Сталинграде, бойцы Шумилова с почтительным уважением произносят:

— Ну, так что мы? Вот люди: держат заводы. Страшно и удивительно смотреть: день и ночь висит над ними туча огня, дыма, немецких пикировщиков, а Чуйков стоит.

Грозные эти слова для военного человека: направление главного удара, жестокие, страшные слова. Нет слов страшнее на войне, и, конечно, не случайно, что в хмурое осеннее утро заняла оборону у завода сибирская дивизия Гуртьева. Сибиряки — народ коренастый, строгий, привыкший к холоду и лишениям, молчаливый, любящий порядок и дисциплину, резкий на слова. Сибиряки — народ надёжный, кряжистый, и они-то в суровом молчании били кирками каменистую землю, рубили амбразуры в стенах цехов, устраивали блиндажи, окопы, ходы сообщения, готовя смертную оборону.

Полковник Гуртьев, сухощавый пятидесятилетний человек, в 1914 году ушел со второго курса петербургского политехнического института добровольцем на русско-германскую войну. Он был тогда артиллеристом, воевал с немцами под Варшавой, под Барановичами, Чарторийском.

Двадцать восемь лет своей жизни посвятил полковник военному делу — воевал и учил командиров. Два сына его лейтенантами ушли на войну. В далёком Омске остались жена и дочь-студентка. И в этот торжественный и грозный день полковник вспомнил и сыновей-лейтенантов, и дочь, и жену, и много десятков воспитанных им молодых командиров, и всю свою долгую, полную труда, спар-

тански скромную жизнь. Да, пришёл час, когда все принципы военной науки, морали, долга, которые он с суровым постоянством преподавал сыновьям своим, ученикам, сослуживцам, должны были получить проверку, и с волнением поглядывал полковник на лица солдат-сибиряков: омичей, новосибирцев, красноярцев, барнаульцев, тех, с кем сулила ему судьба отражать удары врага.

Сибиряки пришли к великим рубежам хорошо подготовленными. Дивизия прошла большую школу, прежде чем выступить на фронт. Тщательно и умно, беспощадно придирчиво учил бойцов полковник Гуртьев. Он знал, что, сколь ни тяжела военная учёба, ночные учебные штурмы, утюжение танками сидящих в щелях бойцов, долгие марши, всё же во много крат тяжелее и суровее сама война. Он верил в стойкость, в силу сибирских полков. Он проверил её в дороге, когда за весь долгий путь было лишь одно чрезвычайное происшествие: боец уронил на ходу поезда винтовку, соскочил, поднял винтовку и три километра бежал до станции, чтобы догнать идущий к фронту эшелон. Он проверил стойкость полков в сталинградской степи, где необстрелянные люди спокойно отразили внезапную атаку тридцати немецких танков. Он проверил выносливость сибиряков во время последнего марша к Сталинграду, когда люди за двое суток покрыли расстояние в двести километров, и всё же с волнением поглядывал полковник на лица бойцов, вышедших на главный рубеж, на направление главного удара.

Гуртьев верил в своих командиров. Молодой, не знающий устали, начальник штаба полковник Тарасов мог дни и ночи сидеть в сотрясаемом взрывами блиндаже над картами, планировать сложный бой. Его прямота и беспощадность суждений, его привычка смотреть жизни прямо в глаза и искать военную правду, как бы горька она ни была, зиждилась на железной вере. В этом небольшом сухощавом молодом человеке с лицом, речью и руками крестьянина жила неукротимая сила мысли и духа. Заместитель командира дивизии по политической

части Свирин обладал крепкой волей, острой мыслью, аскетической скромностью, он умел оставаться спокойным, весёлым и улыбаться там, где забывал об улыбке самый спокойный и жизнерадостный человек. Командиры полков Маркелов, Михалев и Чамов были гордостью полковника, он верил им, как самому себе. О спокойной храбрости Чамова, о несгибаемой воле Маркелова, о замечательных душевных качествах Михалева, любимце полка, по-отечески заботливом к подчинённым, мягком и «симпатичнейшем человеке», не знающем, что такое страх, все в дивизии говорили с любовью и восхищением, — и всё же с волнением глядел на лица своих командиров полковник Гуртьев, ибо он знал, что такое направление главного удара, что значит держать великий рубеж сталинградской обороны. «Выдержат ли, выстоят ли?» — думал полковник.

Едва дивизия успела закопаться в каменистую почву Сталинграда, едва управление дивизии ушло в глубокую штольню, выдолбленную в песчаной скале над Волгой, едва протянулась проволочная связь и застучали радиопередатчики, связывающие командные пункты с занявшей в заволжье огневые позиции артиллерией, едва мрак ночи сменился рассветом, как немцы открыли огонь. Восемь часов подряд пикировали «Юнкерсы-87» на оборону дивизии, восемь часов без единой минуты перерыва шли волна за волной немецкие самолёты, восемь часов выли сирены, свистали бомбы, сотрясалась земля, рушились остатки кирпичных зданий, восемь часов в воздухе стояли клубы дыма и пыли, смертно выли осколки. Тот, кто слышал вопль воздуха, раскалённого авиационной бомбой, тот, кто пережил напряжение стремительного десятиминутного налёта немецкой авиации, тот поймёт, что такое восемь часов интенсивной воздушной бомбёжки пикирующих бомбардировщиков. Восемь часов сибиряки били всем своим оружием по немецким самолётам, и, вероятно, чувство, похожее на отчаяние, овладевало немцами, когда эта горящая, окутанная чёрной пылью и дымом заводская

земля упрямо трещала винтовочными залпами, рокотала пулемётными очередями, короткими ударами противотанковых ружей и мерной злой стрельбой зениток. Казалось, всё живое должно быть сломлено, уничтожено, а сибирская дивизия, закопавшись в землю, не согнулась, не сломалась, а вела огонь — упрямая, бессмертная. Немцы ввели в действие тяжёлые полковые миномёты и артиллерию. Нудное шипение мин и вой снарядов присоединились к свисту сирен и грохоту рвущихся авиационных бомб. Так продолжалось до ночи. В печальном и строгом молчании хоронили красноармейцы своих погибших товарищей. Это был первый день — новоселье. Всю ночь не умолкали немецкие артиллерийские и миномётные батареи, и мало кто спал в эту ночь.

Этой ночью на командном пункте полковник Гуртьев встретил двух своих старых друзей, которых не видел больше двадцати лет. Люди, расставшиеся молодыми, неженатыми, встретились уже седыми, морщинистыми. Двое из них командовали дивизиями, третий — танковой бригадой. Они обнялись, и все вокруг: начальники их штабов, и адъютанты, и майоры из оперативного отдела увидели слёзы на глазах седых людей.

«Какая судьба, какая судьба!» — говорили они. И в самом деле: что-то величественное и трогательное было во встрече друзей юности в грозный час, среди пылавших заводских корпусов и развалин Сталинграда. Видно, правильной дорогой шли они, если встретились вновь при выполнении высокого и тяжёлого долга.

Всю ночь грохотала немецкая артиллерия, и, едва взошло солнце над вспаханной немецким железом землёй, появилось сорок пикировщиков, и снова завыли сирены, и снова чёрное облако пыли и дыма поднялось над заводом, закрыло землю, цехи, разбитые вагоны, и даже высокие заводские трубы потонули в чёрном тумане. В это утро полк Маркелова вышел из укрытий, убежищ, окопов, он покинул бетонные и каменные норы и перешёл в наступление. Батальоны шли вперёд через горы шлака,

через развалины домов, мимо гранитного здания заводской конторы, через рельсовые пути, через садик городского предместья. Они шли мимо тысяч безобразных ям, вырытых бомбами, и над головами людей был весь ад немецкой воздушной армии. Железный ветер бил в лицо, а они всё шли вперёд, и снова чувство суеверного страха охватило противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?

Да, они были смертны. Полк Маркелова прошёл километр, занял новые позиции, закрепился на них. Только здесь знают, что такое километр. Это — тысяча метров, это сто тысяч сантиметров. Ночью немцы атаковали полк во много раз превосходящими силами. Шли батальоны немецкой пехоты, шли тяжёлые танки, и пулемёты заливали позиции полка железом. Пьяные автоматчики лезли с упорством лунатиков. О том, как сражался полк Маркелова, расскажут мёртвые тела бойцов, расскажут друзья, слышавшие, как в ночь и на следующий день и снова в ночь рокотали русские пулемёты, раздавались взрывы русских гранат. Повесть об этом бое расскажут развороченные и сожжённые немецкие танки и длинные вереницы крестов с немецкими касками, выстроившиеся повзводно, поротно, побатальонно.

Да, они были простыми смертными, и мало кто уцелел из них, но они сделали своё дело.

На третий день немецкие самолёты висели над дивизией уже не восемь, а двенадцать часов. Они оставались в воздухе после заката солнца, и из высокой тьмы ночного неба возникали воющие голоса сирен «Юнкерсов» и, как тяжёлые и частые удары молота, обрушивались на полыхавшую дымным красным пламенем землю фугасные бомбы. С утренней зари до вечерней били по дивизии немецкие пушки и миномёты. Сто артиллерийских полков работали на немцев в районе Сталинграда. Иногда они устраивали огневые налёты, по ночам они вели изматывающий методический огонь. Вместе с ними работали миномётные батареи. Это было направление главного удара.

По нескольку раз в день вдруг замолкали немецкие

пушки, миномёты, вдруг исчезала давящая сила пикировщиков. Наступала необычайная тишина. Тогда наблюдатели кричали: «Внимание!», и боевое охранение бралось за бутылки горючей жидкости, бронебойщики раскрывали брезентовые сумки с патронами, автоматчики обтирали ладонью свои ППШ, гранатомётчики ближе подвигали ящики гранат. Эта короткая, минутная, тишина не означала отдыха. Она предшествовала атаке.

Вскоре лязг сотен гусениц, низкое гудение моторов оповещали о движении танков, и лейтенант кричал:

— Товарищи, внимание! Слева просачиваются автоматчики.

Иногда немцы подходили на расстояние тридцати-сорока метров, и сибиряки видели их грязные лица, порванные шинели, слышали картавые выкрики, угрозы, насмешки, а после того, как немцы откатывались, на дивизию с новой яростью обрушивались пикировщики и огневые валы артиллерии и миномётов. В отражении немецких атак великую заслугу имела наша артиллерия. Командир артиллерийского полка Фугенфиров, командиры дивизионов и батарей находились вместе с батальонами, ротами дивизии на передовой. Радио связывало их с огневыми позициями, и десятки мощных дальнобойных орудий на левом берегу жили одним дыханием, одной тревогой, одной бедой и одной радостью с пехотой. Артиллерия делала десятки замечательных вещей: она прикрывала стальным плащом пехотные позиции, она карёжила, как картон, сверхтяжёлые немецкие танки, с которыми не могли справиться бронебойщики, она, словно меч, отсекала автоматчиков, лепившихся к броне танков, она обрушивалась то на площадь, то на тайные места сосредоточения, она взрывала склады и поднимала на воздух немецкие миномётные батареи. Нигде за время войны пехота так не чувствовала дружбу и великую помощь артиллерии, как в Сталинграде.

В течение месяца немцы произвели сто семнадцать атак на полки сибирской дивизии.

Был один страшный день, когда немецкие танки и

пехота двадцать три раза шли в атаку. И эти двадцать три атаки были отбиты. В течение месяца каждый день, за исключением трёх, немецкая авиация висела над дивизией десять-двенадцать часов. Всего за месяц триста двадцать часов. Оперативное отделение подсчитало астрономическое количество бомб, сброшенных немцами на дивизию. Это — цифра с четырьмя нолями. Такой же цифрой определяется количество немецких самолёто-налётов. Всё это происходило на фронте длиной около полутора-двух километров. Этим грохотом можно было оглушить человечество, этим огнём и металлом можно было сжечь и уничтожить государство.

Немцы полагали, что сломят моральную силу сибирских полков. Они полагали, что перекрыли предел сопротивления человеческих сердец и нервов. Но удивительное дело: люди не согнулись, не сошли с ума, не потеряли власть над своими сердцами и нервами, а стали и сильней и спокойней. Молчаливый, кряжистый сибирский народ стал ещё суровей, ещё молчаливей, ввалились у красноармейцев щёки, мрачно смотрели глаза. Здесь, на направлении главного удара германских сил, не слышно было в короткие минуты отдыха ни песни, ни гармоники, ни весёлого лёгкого слова. Здесь люди выдерживали сверхчеловеческое напряжение. Бывали периоды, когда они не спали по трое, четверо суток кряду, и командир дивизии, седой полковник Гуртьев, разговаривая с красноармейцами, с болью услышал слова бойца, тихо сказавшего:

— Есть у нас всё, товарищ полковник, и хлеб — девятьсот граммов, и горячую пищу непременно два раза в день приносят в термосах, да не кушается.

Гуртьев любил и уважал своих людей, и знал он — когда солдату «не кушается», то уж крепко, по-настоящему тяжело ему. Но теперь Гуртьев был спокоен. Он понял: нет на свете силы, которая могла бы сдвинуть с места сибирские полки. Великим и жестоким опытом обогатились красноармейцы и командиры за время боёв. Ещё прочней и совершенней стала оборона. Перед завод-



скими цехами выросли целые переплетения сапёрных сооружений, — блиндажи, ходы сообщения, стрелковые ячейки, инженерная оборона была вынесена далеко вперёд, перед цехами. Люди научились быстро и слаженно производить подземные маневры, сосредоточиваться, рассыпаться, переходить из цеха в окопы ходами сообщения и обратно, в зависимости от того, куда обрушивала свои удары авиация противника, в зависимости от того, откуда появлялись танки и пехота атакующих немцев.

Были сооружены подземные «усы», «щупальцы», по которым истребители подбирались к тяжёлым немецким танкам, останавливающимся в ста метрах от здания цехов. Сапёры минировали все подходы к заводу. Мины приходилось подносить на руках, по две штуки, держа их подмышками, как хлебы. Этот путь от берега к заводу имел протяжение шесть-восемь километров и полностью простреливался немцами. Само минирование производилось в глубоком мраке, в предрассветные часы, часто на расстоянии тридцати метров от фашистских позиций. Так было заложено около двух тысяч мин под брёвна разнесенных бомбёжкой домиков, под кучки камней, в ямки, вырытые снарядами и минами. Люди научились защищать большие дома, создавая плотный огонь от первого этажа до пятого, устраивали изумительно тонко замаскированные наблюдательные пункты перед самым носом у неприятеля, использовали в обороне ямы, вырытые тяжёлыми бомбами, всю сложную систему подземных заводских газопроводов, маслопроводов, водопроводов. С каждым днём совершенствовалась связь между пехотой и артиллерией, и иногда казалось, что Волга уже не отделяет пушек от полков, что глазастые пушки, мгновенно реагирующие на каждое движение врага, находятся рядом со взводами, с командными пунктами.

Вместе с опытом росла внутренняя закалка людей. Дивизия превратилась в совершенный, на диво слаженный единый организм. Люди дивизии не чувствовали, сами не понимали, не могли ощутить тех психологических

изменений, которые произошли в них за месяц пребывания в аду, на переднем крае обороны великого сталинградского рубежа. Им казалось, что они те же, какими были всегда: они в свободную тихую минуту мылись в подземных банях, им так же приносили горячую пищу в термосах, и заросшие бородами Макаревич и Карнаухов, похожие на мирных сельских почтарей, приносили под огнём на передовую в своих кожаных сумках газеты и письма из далёких омских, тюменских, тобольских, красноярских деревень.

Они вспоминали о своих плотницких, кузнечных, крестьянских делах. Они насмешливо звали шестиствольный немецкий миномет «дурилой», а пикирующие бомбардировщики с сиренами «скрипунами» и «музыкантами». На крики немецких автоматчиков, грозивших им из развалин соседних зданий и кричавших: «Эй, русс, буль-буль, сдавайся», они усмехались и меж собой говорили: «Что это немец всё гнилую воду пьёт, или не хочет волжской?» Им казалось, что они те же, и только вновь приезжавшие с лугового берега с почтительным изумлением смотрели на них, уже не ведавших страха людей, для которых не было больше слов «жизнь» и «смерть». Только глаза со стороны могли оценить всю железную силу сибиряков, их равнодушие к смерти, их спокойную волю до конца вынести тяжкий жребий людей, занявших смертную оборону.

Героизм стал бытом, героизм стал стилем дивизии и её людей, героизм сделался будничной, каждодневной привычкой. Героизм был в работе поваров, чистивших под сжигающим огнём термитных снарядов картошку. Великий героизм был в работе девушек-санитарок, тобольских школьниц — Тони Егоровой, Зои Калгановой, Веры Каляды, Нади Кастериной, Лёли Новиковой и многих их подруг, перевязывавших и поивших водой раненых в разгаре боя. Да, если посмотреть со стороны, то героизм был в каждом будничном движении людей дивизии: и в том, как командир взвода связи Хамицкий, мирно сидя

на пригорке перед блиндажом, читал «беллетристику», в то время как десяток немецких пикировщиков с ревом бодали землю, и в том, как офицер связи Батраков, аккуратно протирая очки, вкладывал в полевую сумку донесения и отправлялся в двенадцатикилометровый путь по «логу смерти» с таким будничным спокойствием, словно речь шла о привычной воскресной прогулке, и в том, как автоматчик Колосов, засыпанный в блиндаже разрывом по самую шею землёй и обломками досок, повернул к заместителю командира Свирину лицо и рассмеялся, и в том, как машинистка штаба, краснощёкая толстуха — сибирячка Клава Копылова, начала печатать в блиндаже боевой приказ и была засыпана, откопана, перешла печатать во второй блиндаж, снова была засыпана, снова откопана и всё же допечатала приказ в третьем блиндаже и принесла его командиру дивизии на подпись.

Вот такие люди стояли на направлении главного удара.

Об их несгибаемом упорстве знали хорошо немцы. Ночью в блиндаж к Свирину привели пленного. Руки и лицо его, поросшее седой щетиной, были совершенно черные от грязи, превратившийся в тряпку шерстяной шарф прикрывал шею. Это был немец из пробивных отборных частей немецкой армии, участник всех походов, член нацистской партии. После обычных вопросов пленному перевели вопрос Свирина: «Как расценивают немцы сопротивление в районе завода?» Пленный стоял, прислонившись плечом к каменной стене блиндажа. «О!» — сказал он и вдруг разрыдался.

Да, настоящие люди стояли на направлении главного удара, их нервы и сердца выдержали.

К концу второй декады немцы предприняли решительный штурм завода. Такой подготовки к атаке не знал мир. Восемьдесят часов подряд работала авиация, тяжёлые миномёты и артиллерия. Три дня и три ночи превратились в хаос дыма, огня и грохота. Шипение бомб, скрипящий рев мин из шестиствольных «дурил», гул тяжёлых снарядов, протяжный визг сирен одни могли оглушить людей,

но они лишь предшествовали грому разрывов. Рваное пламя взрывов полыхало в воздухе, вой истерзанного металла пронизывал пространство. Так было восемьдесят часов. Затем подготовка кончилась, и сразу же в пять утра в атаку перешли тяжёлые и средние танки, пьяные орды автоматчиков, пехотные немецкие полки. Немцам удалось ворваться в завод, их танки ревели у стен цехов, они рассекали нашу оборону, отрезали командные пункты дивизии и полков от переднего края обороны. Казалось, что лишённая управления дивизия потеряет способность к сопротивлению, что командные пункты, попавшие под непосредственный удар противника, обречены на уничтожение, но произошла поразительная вещь: каждая траншея, каждый блиндаж, каждая стрелковая ячейка и укреплённые руины домов превратились в крепость со своими управлениями, со своей связью.

Сержанты и рядовые красноармейцы стали командирами, умело и мудро отражавшими атаки. И в этот горький и тяжёлый час командиры, штабные работники превратили командные пункты в укрепления и сами, как рядовые, отражали атаки врага. Десять атак отбил Чамов. Огромный рыжий командир танка, оборонявший командный пункт Чамова, расстреляв все снаряды и патроны, соскочил на землю и стал камнями бить подошедших автоматчиков. Любимец дивизии, командир полка Михалев, погиб от прямого попадания бомбы в командный пункт. Сменивший Михалева майор Кушнарев перенёс свой командный пункт в бетонированную трубу, проходящую под заводскими цехами. Несколько часов вёл бой у входа в эту трубу Кушнарев, его начальник штаба Дятленко и шесть командиров. У них имелось несколько ящиков гранат, и этими гранатами они отбили все атаки немецких автоматчиков.

Этот невиданный по ожесточённости бой длился, не переставая, несколько суток. Он шёл уже не за отдельные дома и цехи, он шёл за каждую отдельную ступеньку лестницы, за угол в тесном коридоре, за отдельный станок,

за пролёт между станками, за трубу газопровода. Ни один человек не отступил в этом бою. И если немцы занимали какое-либо пространство, то это значило, что там уже не было живых красноармейцев. Все дрались так, как рыжий великан-танкист, фамилии которого так и не узнал Чамов, как сапёр Косиченко, выдергивавший чеку из гранаты зубами, так как у него была перебита левая рука. Погибшие словно передали силу оставшимся в живых, и бывали такие минуты, когда десять активных штыков успешно держали оборону, занимаемую батальоном.

Много раз переходили заводские цехи от сибиряков к немцам, и снова сибиряки захватывали их. В этом бою немцам удалось занять ряд зданий и заводских цехов. В этом бою немцы достигли максимального напряжения атак. Это был самый высокий потенциал их удара на главном направлении. Словно подняв непомерную тяжесть, они надорвали какие-то внутренние пружины, приводившие в действие их пробивной таран.

Кривая немецкого напора начала падать. Три немецкие дивизии — 94-я, 305-я, 389-я дрались против сибиряков. Пяти тысяч немецких жизней стоило сто семнадцать пехотных атак. Сибиряки выдержали это сверхчеловеческое напряжение. Две тысячи тонн превращённого в лом танкового металла легло перед заводом. Тысячи тонн снарядов, мин, авиабомб упали на заводской двор и цехи, но дивизия выдержала напор. Она не сошла со смертного рубежа, она ни разу не оглянулась назад, она знала: за спиной её была Волга, судьба страны.

Невольно думаешь о том, как выковывалось это великое упорство. Тут сказался и народный характер, и высокое сознание великой ответственности, и угрюмое, кряжистое сибирское упорство, и отличная военная и политическая подготовка, и суровая дисциплина. Но мне хочется сказать ещё об одной черте, сыгравшей немалую роль в этой великой и трагической эпопее — об удивительной целомудренной морали, о крепкой любви, связывавшей всех людей сибирской дивизии. Любовь, связы-

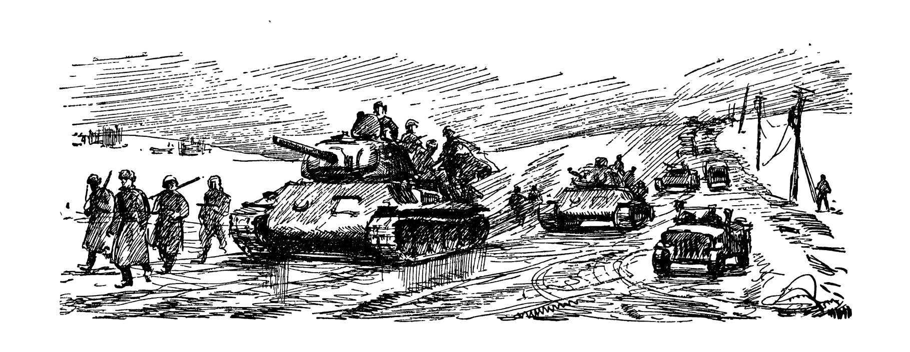
вающую людей дивизии, я увидел в той скорби, с которой говорят о погибших товарищах. Я услышал её в словах красноармейца из полка Михалева, ответившего на вопрос: «Как живётся вам?» — «Эх, как живётся, — остались мы без отца».

Я увидел её в трогательной встрече седого полковника Гуртьева с вернувшейся после второго ранения батальонной санитаркой Зоей Калгановой. «Здравствуйте, дорогая девочка моя», — тихо сказал Гуртьев и быстро с протянутыми руками пошёл навстречу худой стриженой девушке. Так лишь отец может встречать свою родную дочь. Эта любовь и вера друг в друга помогали в страшном бою красноармейцам становиться на место командиров, помогали командирам и работникам штаба браться за пулемёт, ручную гранату, бутылку с горючей жидкостью, чтобы отражать немецкие танки, вышедшие к командным пунктам.

Жёны и дети никогда не забудут своих мужей и отцов, павших на великом волжском рубеже. Этих хороших, верных людей нельзя забыть. Наша Красная Армия может лишь одним достойным способом почтить святую память павших на направлении главного удара противника — освободительным, не знающим преград наступлением. Мы верим, что час этого наступления близок.

20 ноября 1942 года





ПО ДОРОГАМ НАСТУПЛЕНИЯ

По Волге идёт лед. Льдины шуршат, сталкиваясь, крошатся, лезут друг на дружку. Этот сухой, напоминающий шуршание песка, шопот слышен за много саженей от берега. Река почти вся сплошь покрыта льдом, лишь изредка в белой широкой ленте, плывущей среди тёмных бесснежных берегов, видны пятна воды. Белый волжский лёд несёт на себе стволы деревьев, брёвна. Вот на ледяном холме сидит, насупившись, большой ворон. Его чернота видна даже на фоне тёмной полыньи. Вчера здесь проплыл мёртвый краснофлотец в полосатой тельняжке. Матросы с грузового парохода сняли его. Мёртвый врос в лёд. Его с трудом оторвали. Он словно не хотел уходить с Волги, где воевал и погиб. Необычайно странно выглядят волжские пароходы и баржи среди льдов. Чёрный дым пароходных труб подхватывается ветром, стелется над рекой, цепляется, рвётся в клочья на поднимающихся дыбом льдинах. Тупые широкие носы барж медленно подминают под себя светлую ленту, тёмная вода за кормой снова покрывается идущим от Сталинграда льдом. Никогда ещё в такую позднюю пору не работали волжские пароходы. «Это наша первая полярная навигация», — говорит капитан буксирного парохода.

Нелегко работать во льдах, часто рвутся буксирные канаты, матросы рубят молотами тяжёлые тросы, балансируя, перебегают по зыбким колеблющимся льдинам. Капитан, с длинными седыми усами, с темнокрасным от ветра лицом, кричит осипшим голосом в рупор. Пароход, покряхтывая от напряжения, подбирается к затёртой льдом барже. Но день и ночь работает эта переправа — баржи везут боеприпасы, танки, хлеб, лошадей. И если грозная переправа, переправа огня, там, наверху, у города, обеспечивает сталинградскую оборону, то эта нижняя переправа, переправа льда, обеспечивает сталинградское наступление.

Девяносто дней штурмовали главные немецкие силы дома и улицы, заводы и сады Сталинграда. Девяносто дней отражали дивизии, защищавшие город, невиданный натиск тысяч немецких орудий, танков, самолётов, сотни жестоких атак выдержали бойцы Родимцева, Горохова, Гуртьева, Батюка. Их волей, их железными сердцами, их большой кровью отбивал Сталинград натиск врага. Всё тесней сжималось кольцо вокруг нашей обороны, всё трудней становилась связь с луговым берегом, всё упорней удары. Тяжёлым месяцем был август в обороне города. Тяжелее было в сентябре, ещё бешеней стал напор немцев в дни октября. Казалось, нехватит человеческих сил, чтобы устоять в огне, бушевавшем над городом. Но красноармейцы выдержали — может быть, для этого понадобились сверхчеловеческие силы. Но нашлись в грозный час в нашем народе эти сверхчеловеческие силы. Рубеж волжской обороны не был пройден врагом. Когда мы переправлялись через Волгу, пароходы буксировали мимо нас баржи, полные пленных румын. Они стояли в худых зелёных шинелишках, в белых высоких шапках и притоптывали ногами, тёрли замёрзшие руки. «Вот они и увидели Волгу», — говорили матросы. Румыны угрюмо смотрели на воду, на шуршащий лёд, и по лицам их было видно, что мысли у них невесёлые, как эта чёрная зимняя вода. Все дороги к Волге полны пленных. Их видно из-

далека на ровном просторе тёмной бесснежной степи, белые шапки колышутся в такт движению. Идут колонны по двести-триста человек, идут небольшие партии в двадцать-пятьдесят пленных. Медленно, отражая своим движением все изгибы степного просёлка, движется колонна, растянувшаяся на несколько километров. В ней свыше трёх тысяч румын. Эту огромную толпу пленных конвоируют несколько десятков бойцов. Отряд в двести человек идёт обычно под охраной двух-трёх бойцов. Румыны шагают старательно, некоторые отряды даже держат равнение, идут в ногу, и это смешит встречных. Некоторые пленные довольно хорошо говорят по-русски. Они кричат: «Войны не надо, домой надо, конец Гитлеру». И конвоиры, усмехаясь, говорят: «Как вышли наши танки им в тыл да все дороги перерезали, так закричали сразу — войны не надо, а раньше, небось, не кричали, стреляли, да в деревнях девок портили, да стариков пороли». А пленные всё движутся, движутся, идут толпами, погромыхивая котелками, флягами, подпоясанные верёвками, кусками проволоки, накинув на плечи пёстрые одеяла. И женщины смеясь говорят: «Ну, чисто цыгане кочуют румынцы эти».

Дивизии генерала Труфанова начали наступление туманным утром. Был лёгкий морозец. Тишина, которая в тумане кажется особенно полной, в назначенную минуту сменилась рёвом пушек, протяжным и грозным гулом гвардейских миномётных батарей. И едва замолкла канонада, как из тумана появились русские танки, тяжёлые машины стремительно взбирались на крутые склоны холмов, пехотинцы сидели на танках, бежали следом за ними. Туман скрывал движение машин и людей, с наблюдательного пункта лишь видны были мутные вспышки орудийной стрельбы. Центральную высоту штурмовал батальон лейтенанта Бабаева. Первыми ворвались на гребень высоты заместитель Бабаева лейтенант Матусовский, лейтенанты Макаров и Елкин, бойцы Власов, Фомин и Додохин. Старший сержант Кондрашев вбежал в румынский дот и прикладом винтовки стал бить пулемётчиков. Румыны подняли руки.

Когда туман рассеялся, с командного пункта видно было, что центральная высота от низа до самого гребня колышется, дышит движением серых русских шинелей. Одно за другим замолкали тяжёлые румынские орудия, стоявшие в лощинах и на обратных скатах холмов. И когда зазуммерили полевые телефоны, когда связные прибежали с донесениями от командиров рот и батальонов о том, что три господствующие высоты взяты штурмом нашей пехоты, в прорыв двинулись танковые и моторизованные полки. Мы едем по следам наступавших танков. Вдоль дорог лежат вражеские трупы; брошенные орудия, замаскированные сухой степной травой, смотрят на восток. Лошади бродят в балках, волоча за собой обрубленные постромки, разбитые снарядами машины дымятся сизыми дымками, на дорогах валяются каски, тысячи патронов, гранаты, винтовки. Вот вражеский дзот. Гора расстрелянных закоптившихся гильз лежит возле пулемётного гнезда. В ходе сообщения белеют листки писем, коричневая степная земля стала кирпично-красной от крови. Тут же валяются винтовки с прикладами, расщепленными русскими пулями. А навстречу всё время движутся толпы пленных. Прежде чем направлять пленных в тыл, их обыскивают. Смешно и жалко выглядят эти груды деревенских бабьих вещей, которые обнаруживаются в мешках и карманах. Тут и старушечьи платки, и бабьи серёжки, и нижнее бельё, юбки, и детские пелёнки, и пёстрые девичьи кофты. У одного пленного нашли двадцать две пары шерстяных чулок, у другого четыре пары совершенно рваных женских галош. Чем дальше мы едем, тем больше брошенных машин, пушек. Всё чаще встречаются движущиеся в тыл трофейные машины. Тут и грузовики, и изящные малолитражки, и бронированные транспортёры, и штабные машины. Мы въезжаем в Абганерово.

Старуха-крестьянка рассказывает нам о трехмесячном пребывании оккупантов.

— Пусто у нас стало. Курица не заквохчет, петух не закричит. Ни одной коровы не осталось. Некого утром

выгонять, некого вечером встречать. Все подчистую индюки эти подобрали. Всех стариков, поди, у нас перепороли — тот на работу не вышел, тот зерна не сдал. В Плодовитой, там старосту четыре раза пороли, сына моего, калеку, угнали, с ним девочка и мальчонка десятый год. Вот четвёртый день плачем. Нет их и нет.

Станция Абганерово полна захваченных трофеев. Тут стоят десятки тяжёлых пушек и сотни полевых орудий. Их обращённые в разные стороны стволы словно растерянно озираются. Длинными вереницами стоят трофейные автомобили с эмблемами дивизий, затейливо выписанными женскими именами. Станционные пути забиты эшелонами, захваченными нашими войсками. Немцы уже успели перешить железнодорожную колею, и на сборных товарных составах можно прочесть названия многих городов и стран. Тут и французские, и бельгийские вагоны, и польские, но, на каком бы языке ни была сделана надпись, на каждом вагоне жирно напечатан чёрный имперский орёл — символ рабства и насилия. Стоят эшелоны, гружённые мукой, кукурузой, минами, снарядами, жирами, укупоренными в большие прямоугольные банки, вагоны с эрзац-валенками на толстой деревянной подошве, с бараньими шапками, технической аппаратурой, с прожекторами. Жалко и нищенски выглядят санитарные теплушки с наспех сколоченными нарами, покрытыми грязным тряпьём. Бойцы, покряхтывая, выносят из вагонов бумажные эрзац-мешки с мукой, укладывают их на грузовики. На каждом мешке жирно отпечатан орёл.

Вечером мы продолжаем наш путь. Идут войска, колышутся чёрные противотанковые ружья, стремительно проносятся пушки, буксируемые маленькими сильными автомобилями. С тяжёлым гуденьем идут танки, на рысях проходят кавалерийские полки. Холодный ветер, неся пыль и сухую снежную крупу, с воем носится над степью, бьёт в лицо. Лица красноармейцев стали бронзово-красными от жестокого зимнего ветра. Не легко воевать в эту погоду, проводить долгие зимние ночи в степи под этим

ледяным, пронизывающим ветром, но люди идут бодро, подняв головы, идут с песней. Это сталинградское наступление. Настроение армии исключительно хорошее. Все — от генералов до рядовых бойцов — живут ощущением великой ответственности, великого значения происходящего. Дух суровой трезвой деловитости лежит на всех действиях и поступках командиров. В штабах не знают отдыха, исчезло понятие дня и ночи. Высшие командиры и начальники штабов работают чётко, серьёзно, напряжённо. Слышны негромкие голоса, отдающие короткие приказания. Успех велик, успех несомненен, но все живут одной мыслью — враг окружён, ему нельзя дать прорваться, его нужно уничтожить. Этой ответственной и трудной задаче посвящена вся жизнь, каждое дыхание людей Сталинградского фронта.

Абганерово
28 ноября 1942 года





НОВЫЙ ДЕНЬ

Шестнадцатого декабря днём подул сильный северо-восточный ветер. Тёмные мокрые облака, теряя тяжёлую влагу, поднялись вверх, посветлели. Туман стал мёрзнуть и оседать белым пухом на проводах военного телеграфа и на низко подстриженных минными осколками прибрежных деревьях. Лужи, стоявшие в снарядных воронках, заковало белыми пластинками льда, ледяной узор пополз по смотровым стёклам грузовиков, обращённых к ветру. Тёмные тела пудовых мин и тяжёлых снарядов, сложенных в ямах у восточного причала переправы, покрылись лёгким инеем. Земля стала звонкой, воздух просторным. И на западе, над рваным каменным кружевом мёртвого города поднялся красный закат.

Ветер и течение гнали Волгой огромную, трёхсотсаженную льдину. Она проползла мимо Спартаковки, мимо осквернённых врагом развалин тракторного завода, стала медленно поворачиваться и у «Красного Октября» остановилась, уперлась своими широкими плечами между наледью восточного и западного берегов Волги.

В ясное небо, осторожно раздвигая звёзды, поднялась луна, и всё, бывшее в мире белым, стало неясным синим и голубым.

Течение, сдержанное льдиной, стало искать себе ходов поближе к речному дну, поверхность воды покрылась рыхлой тончайшей корочкой; через несколько часов она упрочилась, и в эту же ночь по трёхсантиметровому, прогибающемуся и постреливающему льду первым перешёл с левого на правый берег Волги сержант сапёрно-инженерного батальона Титов.

Он вышел на берег, оглянулся на далёкое Заволжье и стал сворачивать папироску. И в эту минуту, когда Титов, бахвалясь, ответил окружившим его красноармейцам: «Как перешёл? — Взял да и перешёл, чего проще!» — именно в эту минуту время перелистнуло величавую страницу в книге сталинградской борьбы, страницу, написанную крепкими большими руками с потрескавшейся от ледяной воды кожей, руками сержантов, красноармейцев, понтонных и инженерно-сапёрных батальонов, руками мотористов, грузчиков патронов — всех тех, кто сто дней держал переправу через Волгу, переплывал темносерую ледяную реку, глядел в глаза быстрой жестокой смерти.

Когда-нибудь споют песню о тех, кто спит на дне Волги. Эта песня будет проста, правдива, как труд и смерть среди чёрных ночных льдов, вдруг загоравшихся синим пламенем от разрывов термитных снарядов, от холодных голубых глаз «арийских» прожекторов.

Ночью мы идём по Волге. Двухдневный лёд уже не прогибается под тяжестью шагов, луна освещает сеть тропинок, бесчисленные следы салазок. Связной красноармеец идёт впереди уверенно и быстро, словно он полжизни своей шагал по этим пересекающимся тропинкам. Неожиданно лёд начинает потрескивать. Связной подходит к широкой полынье, останавливается и говорит:

— Эге, да мы, видать, не так пошли! Надо бы вправо взять.

Эту утешительную фразу почти всегда произносят

связные, куда бы и где бы они вас ни водили. Мы берём вправо и снова выходим на тропинку.

Круглые облачка плавно накатываются на луну, и тогда белая Волга темнеет, словно покрывается серой золой. Разбитые снарядами баржи вмерзли в лед, голубовато поблескивают обледеневшие канаты, круто поднявшиеся вверх кормы, носы разбитых катеров, моторных лодок.

На заводах идёт бой. Тёмные разрушенные стены цехов вдруг освещаются белым и розовым огнём орудийных выстрелов. Гулко, с перекатом ударяют пушки, сухо и звонко разносятся минные разрывы, то и дело слышатся чеканящие очереди автоматов и пулемётов.

Звуки ночного боя на заводе тоже говорят о новой странице сталинградской борьбы, — это уже не тот стихийный грохот, поднимавшийся высоко к небу, рушившийся с неба потоками на землю, захлестывавший весь огромный волжский простор. Это битва снайперских ударов. Прямые и быстрые трассы пулеметных очередей и снарядов пролетают между цехами — на близких дистанциях между цехами трассы подобны сверкающим копьям и стрелам, пущенным невидимым во тьме воином. Снаряды и мины долбят немецкие дзоты, ищут зарывшихся в тайных, замаскированных блиндажах немецких пулеметчиков, подобно бритвенному ножу разрезают перекрытия над глубокими ходами сообщения.

Снайпер — герой сегодняшних боев в заводском районе: снайпер-минометчик, снайпер-артиллерист, снайпер-гранатометчик, снайпер-пехотинец. Немец закопался в землю, ушел в каменные норы, залез в глубокие подвалы. Немцы расползлись по бетонированным бакам, по водопроводным и канализационным колодцам, они забрались в подземные тоннели. Лишь снайперским снарядом, точно брошенной гранатой, термитным шаром можно их выковырять, выжечь из глубоких темных нор.

Приходит утро, и солнце всходит в ясном морозном небе над Сталинградом, разрушенным немцами. Солнце всходит над желтым песчаником, оно освещает каменные



источенные снарядами развалины, заводские дворы, превратившиеся в поля битвы, где в смертной схватке сходились полки и дивизии, оно освещает края огромных ям, вырытых тонными бомбами. Дно этих страшных ям всегда в угрюмом сумраке, солнце боится касаться их. Солнце глядит сквозь простреленные насквозь снарядами заводские трубы. Солнце светит над сотнями подъездных путей, где цистерны с развороченным брюхом лежат, как убитые лошади, где сотни товарных вагонов громоздятся один на другой, поднятые силой взрывной волны, толпятся вокруг холодных паровозов, словно обезумевшее от ужаса стадо, жмущееся к своим вожакам. Зимнее солнце светит над братскими могилами, над самодельными памятниками, поставленными в тех местах, где лежат убитые в боях на направлении главного удара.

Мертвые спят на холмистых высотах, у развалин заводских цехов, в оврагах и балках, они спят там, где воевали, и, как величественный памятник их верности, стоят эти могилы у траншей, блиндажей, каменных стен, которые не сдались противнику.

Святая земля! Как хочется навек сохранить в памяти этот новый город торжествующей народной свободы, выросший среди развалин, — все эти подземные жилища с дымящими на солнце трубами, с переплетением тропинок и новых дорог, с тяжелыми минометами, поднявшими дула между землянок; с этими сотнями людей в ватниках, шинелях, шапках-ушанках, занятых бессонным делом войны, несущих мины, как хлеб, подмышкой, чистящих картошку подле нацеленного дула тяжелой пушки, переругивающихся, поющих вполголоса, рассказывающих о ночном гранатном бое, таких великолепно будничных в своем героизме. Как сохранить в памяти все эти бесчисленные картины, эту чудесную движущуюся панораму сталинградской обороны, эту живую минуту великого сегодня, которое завтра станет вечной страницей истории.

Но всё меняется, — и как не похожа переправа сегодняшнего дня на вчерашнюю, как не похож снайперский

ночной бой на заводе на стихийные ноябрьские атаки, так сегодняшний сталинградский день не похож на отошедшие дни октября и ноября. Русский солдат вышел из земли, вышел из камня, он распрямился во весь рост, он ходит спокойно, неторопливо при ярком солнечном свете по сверкающей закованной Волге. Переваливаясь, идут бойцы, волоча салазки, ездовые сердито подгоняют лошадей, неуверенно ступающих по гладкому льду. На снежном холме левого берега чеканно выделяются грузчики, разгружающие припасы. Почтальон с кожаной сумкой бредет под солнцем на командный пункт батальона, а по холму несут термосы с супом, несут двое связных, шагающих во весь рост в сорока метрах от немецких окопов.

Да, солдаты завоевали солнце, завоевали великое право ходить по сталинградской земле во весь рост под голубым небом, завоевали день. Только сталинградцы знают цену этой победы. Ведь долгие месяцы малейшее шевелящееся пятнышко, дневной дымок, человек, мелькнувший в ходе сообщения, вызывали на себя огонь немецких войск. Ведь на долгие месяцы дневное сталинградское небо, захваченное «Юнкерсами», перестало быть русским небом, а стало немецким адом, ведь долгие месяцы тысячи людей ожидали ночи, чтобы выйти из камня и земли, чтобы вдохнуть глоток свежего воздуха, расправить онемевшие руки.

Да, всё меняется. И те немцы, которые в сентябре, ворвавшись на одну из улиц, разместились в городских домах и плясали под громкую музыку губных гармошек, те немцы, что ночью ездили с фарами, а днём подвозили припасы на грузовиках, сейчас затаились в земле, спрятались меж каменных развалин.

Долго простоял я с биноклем на четвёртом этаже одного из разрушенных сталинградских домов, глядя на занятые немцами кварталы и заводские цехи. Ни одного дымка, ни одной движущейся фигуры. Для них нет здесь солнца, нет света дня, им выдают сейчас двадцать пять — тридцать патронов на день, им приказано вести огонь лишь по атакующим войскам, их рацион ограничен ста граммами

хлеба и конины. Они сидят, как заросшие шерстью дикари в каменных пещерах, и гложут конину, сидят в дымном мраке, среди развалин уничтоженного ими прекрасного города, в мёртвых цехах заводов, которыми гордилась Советская страна. По ночам они выползают на поверхность и, чувствуя страх перед медленно сжимающей их русской силой, кричат: «Эй, русс, стреляй в ноги! Зачем голову стреляешь?», «Эй, русс, мне холодно — давай менять автомат на шапку!».

Из шестиствольных миномётов они разрушили водопровод, они выпустили пятьсот снарядов по Сталгрэсу, они сожгли всё, что могло гореть, они уничтожили школы, аптеки, больницы. И пришли для них страшные дни и ночи, когда им определено встретить возмездие здесь, среди холодных развалин, во тьме, без воды, глодая конину, прячась от солнца и дневного света под жестокими звёздами русской декабрьской ночи.

19 декабря 1942 года





СТАЛИНГРАДСКОЕ ВОЙСКО

Дорога в батальон идёт по железнодорожным путям, заставленным товарными вагонами, среди молодого, выпавшего ночью, снега. Мы идём по пустырю, изрытому бомбовыми и снарядными ямами. Впереди, на кургане, темнеют водонапорные баки, в которых засели немцы. Пустырь этот хорошо виден немецким снайперам и наблюдателям, но худенький, щуплый красноармеец в длинной шинели, шагающий рядом со мной, идёт спокойно, неторопливо и утешительно объясняет: «Думаете, он нас не видит? Видит. Раньше мы тут ночью ползали, а теперь не то: бережёт патроны и мины». Мой спутник неожиданно спрашивает, не играю ли я в шахматы, и тут же выясняется, что он шахматист первой категории, вот-вот должен был стать мастером. Никогда не приходилось мне беседовать об этой абстрактной и благородной игре, чувствуя, что на меня смотрят немцы, берегущие патроны. Отвечал я моему спутнику довольно рассеянно, отвлекаясь размышлениями, достаточно ли бережливы засевшие в железобетонных баках немцы. Но чем ближе мы подходим к

этим бакам, тем хуже они становятся видны, — отступают за гребень кургана. Мы пошли тропинками по территории одного из цехов громадного сталинградского завода. Мимо груды рыжего железного лома, мимо колоссальных сталеразливочных ковшей, мимо стальных плит и разваленных стен. Красноармейцы настолько привыкли к разрушениям, произведенным здесь, что не замечают их вовсе. Наоборот, интерес вызывают случайно уцелевшее стекло в окне разрушенной заводской конторы, высокая непростреленная труба, чудом уцелевший деревянный домик.

— Смотри, пожалуйста, живёт домик, — говорят проходящие и улыбаются.

И действительно, трогательно выглядят эти редкие уцелевшие свидетели мирной жизни в царстве разрушения и смерти. Командный пункт батальона помещается в подвале огромного четырёхэтажного корпуса одного из промышленных комбинатов. Это крайний западный пункт на нашей сталинградской линии фронта. Он, словно мыс, вдаётся в занятые немцами дома и постройки. Противник рядом, но красноармейцы занимаются своими хозяйственными делами уверенно и неторопливо. Двое пилят дрова, третий рубит топором поленья. Проходят бойцы с термосами. Под наполовину обвалившимся выступом стены сидит боец и старательно слесарит, поправляет повреждённую часть миномета. Он раздумывает, прежде чем принять решение в отдельных деталях своей работы, затем снова принимается за инструмент и напевает, — совершенно мастеровой человек в обжитой своей мастерской.

А здание носит на себе следы страшной разрушительной работы немцев. Вокруг него чернеют огромные ямы, вырытые германскими «пятисотками». Бетонные стены и потолки пробиты от прямых попаданий авиационных бомб. Железная арматура, изодранная силой взрывов, провисает и прогибается, как тонкая рыбачья сеть, порванная огромной белугой. Западная стена разрушена дальнобойной артиллерией. Северная полутораметровая стена обвалилась от удара из шестиствольного миномёта.

Огромная труба — мина с развёрнутой железными лепестками верхней частью валяется на каменном полу. Стены исклёваны ударами лёгких снарядов и мин. Но здесь же из металла и камня, искрошенного немецким огнём, руками красноармейцев вновь создавались стены с узкими длинными амбразурами. Эта разрушенная крепость не сдавалась. Она выстояла форпостом нашей обороны и сейчас своим огнём поддерживает наше наступление.

И сейчас, как и вчера, идёт здесь жестокая, справедливая война. В некоторых пунктах прорытые батальоном траншеи находятся от противника в двадцати метрах. Часовой слышит, как по немецкой траншее ходят солдаты, слышит руготню, которая поднимается, когда немцы делят пищу, всю ночь слышит он, как отбивает чечётку немецкий караульный в своих худых ботинках. Здесь всё пристреляно, каждый камень является ориентиром. Здесь много снайперов, и здесь, в этих глубоких узких траншеях, где люди нарыли себе землянки, поставили печки с трубами из снарядных гильз, где по-хозяйски ругают товарища, отлынивающего от рубки дров, где, вкусно прихлёбывая, едят деревянными ложками суп, принесенный в термосе по ходу сообщения, — здесь день и ночь царит напряжение смертной битвы.

Немцы понимают всё значение этого участка в системе своей обороны. Здесь нельзя показаться на вершок над краем траншеи, чтобы не щёлкнул выстрел немецкого снайпера. Здесь немцы не берегут патронов.

Но мёрзлая каменная земля, в которую глубоко зарылись немцы, не может уберечь их. День и ночь стучат кирки и лопаты, наши красноармейцы шаг за шагом продвигаются вперёд, грудью раздвигая землю, всё ближе и ближе к господствующей высоте. И немцы чуют, что близок час, когда уж ни снайпер, ни пулемётчик не выручат. И их ужасает этот стук лопат, им хочется, чтобы он прекратился хоть на время, хоть на минуту.

— Русс, покури! — кричат они.

Но русские не отвечают. Тогда стук кирок и лопат исчезает в грохоте взрывов: немцы хотят в разрывах гранат утопить страшную методическую работу русских. В ответ из наших траншей тоже летят «феньки» — гранаты. А едва рассеивается дым и стихает грохот, как немцы снова слышат могильный стук. Нет, эта земля не обережёт их от смерти. Эта земля — их смерть. Всё ближе с каждым часом, с каждой минутой приближаются русские, преодолевая каменную твёрдость зимней земли...

Но вот мы снова на командном пункте батальона. Через разрушенную стену, на которой сохранилась дощечка: «Закрывайте двери, боритесь с мухами», мы проходим вглубь глубокого подвала. Здесь на столе стоит румяный медный самовар, красноармейцы и командиры отдыхают на пружинных матрацах, снесенных сюда из окрестных разрушенных домов.

Командир батальона — капитан Ильгачкин, высокий худой юноша с чёрными глазами, с тёмным высоким лбом. По национальности он чуваш. В его лице, в горящих глазах, во впалых щеках, в его речи чувствуется фанатизм, сталинградская одержимость. Он и сам говорит это.

— Я здесь с сентября. И теперь я ни о чём не думаю, только о кургане. Утром встану — и до ночи. А когда сплю, во сне его вижу. — Он возбуждённо стучит кулаком по столу и говорит: — Возьму курган, возьму! План разработали так, что ни одной ошибки в нём быть не может.

В октябре он и красноармеец Репа были одержимы другой идеей: сбивать «Ю-87» из противотанкового ружья. Ильгачкин произвёл довольно сложные вычисления с учётом начальной скорости пули и средней скорости самолёта, составил таблицу поправок для стрельбы. Была построена фантастически остроумная и простая «зенитная» установка: в землю вбивался кол, устраивалась на нём втулка, на эту втулку надевалось колесо от телеги. Противотанковое ружьё сошниками укреплялось на спицах колеса, а телом своим лежало между спицами. И сразу

же худой и унылый Репа сбил три немецких пикировщика «Ю-87», волтузивших наш передний край.

Теперь за противотанковое ружьё взялся знаменитый сталинградский снайпер Василий Зайцев. Он приспосабливает к нему оптический прицел со снайперской винтовки, хочет разрушать немецкие пулемётные точки, всаживать пулю в самую бойницу. Сам Зайцев — молчаливый человек, о котором говорят в дивизии так: «Наш Зайцев культурный, скромный, уже двести двадцать пять немцев убил». Он пользуется большим уважением в городе. Воспитанных им молодых снайперов называют «зайчатами», и, когда он обращается к ним и спрашивает: «Правильно я говорю?» — все хором отвечают: «Правильно, Василий Иванович, правильно». И вот теперь Зайцев консультируется с техниками, чертит, думает, выписывает.

Здесь, в Сталинграде, как нигде, часто видишь людей, вкладывающих в войну не только всю кровь свою, всё сердце, но и все силы ума, всё напряжение мысли. Сколько мне пришлось их встречать здесь — и полковников, и сержантов, и рядовых красноармейцев, напряжённо день и ночь думающих всё об одном и том же, что-то высчитывающих, чертящих, словно люди эти, защищающие город, взяли на себя обязанность разрабатывать изобретения, вести исследования здесь, в подвалах города, в котором недавно занимались этим делом много блестящих профессорских и инженерных умов в просторных институтских и заводских лабораториях. Сталинградское войско воюет в городе и на заводах. И как некогда директора сталинградских заводов-гигантов и секретари райкомов партии гордились тем, что у них, а не в другом городском районе, работает знаменитый стахановец или стахановка, так и теперь командиры дивизий гордятся своими знатными людьми. Батюк, посмеиваясь, перечисляет по пальцам:

— Лучший снайпер Зайцев — у меня, лучший миномётчик Бездидько — у меня, лучший артиллерист в Сталинграде Шуклин — тоже у меня.

И как некогда каждый район города имел свои традиции, свой характер, свои особенности, так и теперь сталинградские дивизии, равные в славе и заслугах, отличаются одна от другой множеством особенностей и характерных черт. О традициях дивизий Родимцева и Гуртьева мы уже писали. В славной дивизии Батюка принят тон украинского доброго гостеприимства, добродушной, любовной насмешливости. Тут любят рассказывать, как Батюк стоял у блиндажа, когда немецкие мины со свистом одна за другой ложились в овраг возле начарта, пытавшегося выйти из своего подземелья, и шутя корректировал стрельбу:

— Правей два метра. Так, левей метр. Начарт, держись!

Тут любят посмеяться и над легендарным виртуозом стрельбы из тяжёлого миномёта Бездидько. И Бездидько, не знающий промаха, кладущий мины с точностью до сантиметров, смеётся и сердится. А сам Бездидько, человек с певучим мягким тенорком, лукавой украинской улыбкой, имеющий на своём счету тысячу триста пять немцев, любовно посмеивается над худеньким командиром батареи Шуклиным, подбившим из одной пушки в течение дня четырнадцать танков:

— А вин оттого и бив одной пушкой, шо у него тильки одна пушка и була.

Здесь в батальоне любят рассказать друг о друге смешное. Рассказывают о внезапных ночных стычках с немцами, о том, как ловят падающие на дно окопа немецкие гранаты и бросают их обратно в немецкие траншеи; как «сыграл» вчера шестиствольный «дурило» и влепил все шесть мин по немецким блиндажам; как огромный осколок от тонной бомбы, который легко мог убить наповал слона, пролетая, разрезал красноармейцу, словно бритва, шинель, ватник, гимнастёрку, нижнюю рубаху и не повредил даже самого ничтожного клочка кожи, капли крови не выпустил. И, рассказывая все эти истории, люди

смеются, и самому всё это тебе кажется смешным, и ты сам смеёшься.

В соседнем отсеке заводского подвала размещаются ротные миномёты. Отсюда стреляют, отсюда смотрят на противника, здесь поют, едят, слушают патефон.

Тонкий луч солнца проникает через щит, закрывающий окно подвала. Луч медленно вполз по ножке кровати, ощупал сапог лежащего, поиграл на металлической пуговице шинели, выполз на стол и осторожно, точно боясь взрыва, коснулся ручной гранаты, лежащей возле самовара. Он полз всё выше, и это значило, что солнце садилось, что наступил зимний вечер.

Обычно говорят — тихий вечер. Но этот вечер нельзя было назвать тихим. Раздалось протяжное курлыканье, потом тяжёлые частые взрывы, и все сидевшие в подвале сказали в один голос: «Шестиствольный сыграл». Потом послышались такие же тяжёлые взрывы и затем протяжный далёкий гул. А спустя несколько мгновений ухнул одиноко взрыв. «Наше дальнобойное с того берега», — сказали сидевшие. И хотя всё время стреляли, хотя приход вечера в тёмном холодном подвале стал заметен лишь по тому, что солнечный луч полз снизу вверх и уже подходил к чёрному закопчённому потолку, всё же это был настоящий тихий вечер.

Красноармейцы завели патефон.

— Какую ставишь? — спросил один.

Сразу несколько голосов ответили:

— Нашу поставь, ту самую.

Тут произошла странная вещь: пока боец искал пластинку, мне подумалось: «Хорошо бы услышать здесь, в чёрном разрушенном подвале, мою любимую «Ирландскую застольную». И вдруг торжественный печальный голос запел:

За окнами шумит метель...

Видно, песня очень нравилась красноармейцам. Все сидели молча. Раз десять повторяли они одно и то же место:

Миледи смерть, мы просим вас
За дверью обождать...

Эти слова, эта наивная и гениальная бетховенская музыка звучали здесь непередаваемо сильно. Пожалуй, это было для меня одно из самых больших переживаний войны, ибо на войне человек знает много горячих, радостных, горьких чувств, знает ненависть и тоску, знает горе и страх, любовь, жалость, месть. Но редко людей на войне посещает печаль. А в этих словах, в этой музыке скорбного сердца, в этой снисходительной, насмешливой просьбе:

Миледи смерть, мы просим вас
За дверью обождать...

была непередаваемая сила, благородная печаль.

И здесь, как никогда, я порадовался великой силе подлинного искусства, тому, что бетховенскую песню слушали торжественно, как церковную службу, солдаты, три месяца проведшие лицом к лицу со смертью в этом разрушенном, изуродованном, не сдавшемся фашистам здании.

Под эту песню в полутьме подвала вспоминались десятки людей сталинградской обороны, людей, выразивших всё величие народной души. Вспомнился суровый, непримиримый сержант Власов, державший переправу, вспомнился сапёр Брысин, красивый, смуглый, не ведающий страха в своём буслаевском удальстве, дравшийся один против двадцати в пустом двухэтажном доме. Вспомнился Подханов, не захотевший после ранения уходить на левый берег, — когда начинался бой, он выбирался из подземелья, где находилась санитарная рота, и, подползая к переднему краю, стрелял из винтовки. Вспомнилось, как сержант Выручкин откапывал под ураганным огнём

на тракторном заводе засыпанный штаб дивизии. Он копал с такой стремительной яростью, что пена выступала у него на губах и его силой оттащили, боялись, что он упадёт мёртвым от нечеловеческого напряжения. Вспомнилось, как за несколько часов до этого тот же Выручкин бросился к горящей машине с боеприпасами и сбил с неё огонь. И вспомнилось, что Выручкина не смог поблагодарить генерал Жолудев, так как Выручкина убило немецкой миной. Может быть, в крови его от прадедов передавалась эта солдатская доблесть — забывая обо всём, кидаться на помощь попавшим в беду, может быть, от этого и дали их роду кличку Выручкиных.

Вспомнился мне боец понтонного батальона Волков. Раненный в шею, с рассеченной лопаткой, он тридцать километров добирался то ползком, то на попутных машинах из госпиталя на переправу и плакал, когда его увезли обратно в госпиталь. Вспомнились мне те, что сгорели в посёлке тракторного завода, но не вышли из горящих зданий, вели огонь до последнего патрона. Вспомнились те, кто дрался за «Баррикады» и за Мамаев курган, те, кто отражали немецкие танки в Скульптурном саду, вспомнился мне батальон, погибший весь от командира до левофлангового бойца, защищая Сталинградский вокзал. Вспомнилась мне широкая проторенная дорога, ведущая к рыбачьей слободе по берегу Волги, дорога славы и смерти; молчаливые колонны, шедшие по ней в жаркой пыли августа, в лунные сентябрьские ночи, в ненастье октября, в ноябрьском снегу. Они шли тяжёлой поступью — бронебойщики, автоматчики, стрелки, пулемётчики, шли в торжественном суровом молчании, и лишь позвякивало их оружие да гудела земля под их тяжёлым шагом.

И вдруг вспомнилось мне письмецо, написанное детской рукой, письмецо, лежавшее возле убитого в дзоте бойца. «Добрый день, а может быть и вечер. Здравствуйте, тятя. Я без вас шипко скучаю. Приходишь домой, как на фатеру. Приезжайте хоть один час на вас посмотреть. Пишу, а слёзы градом льются. Писала дочь Нина».

И вспомнился мне этот убитый тятя, — может быть, он перечитывал письмо, чувствуя свою смерть, и смятый листочек так и остался лежать около его головы...

Как передать чувства, пришедшие в этот час в тёмном подвале не сдавшегося врагу завода, где сидел я, слушал торжественную и печальную песнь и глядел на задумчивые, строгие лица людей в красноармейских шинелях?

1 января 1943 года





ВОЕННЫЙ СОВЕТ

Когда входишь в блиндажи и подземные жилища командиров и бойцов, охватывает страстное желание сохранить навек замечательные черты этого неповторимого быта: эти светильники и печные трубы, сделанные из артиллерийских гильз; эти чарки из снарядных головок, рядом с бокалом из хрусталя; эту фарфоровую пепельницу рядом с противотанковой гранатой; этот огромный матовый электрический шар в рабочем блиндаже командующего, и эту улыбку Чуйкова, говорящего: «Ну да, и люстра, мы ведь в городе живём»; и этот том Шекспира в подземном кабинете генерала Гурова с положенными на раскрытые страницы очками в металлической оправе; эту пачку фотографий в конверте на исчерченной красным и синим карте с надписью «Папочке»; этот подземный кабинет генерала Крылова с добрым письменным столом, за которым шла великолепная работа начальника штаба; все эти самовары и патефоны, голубые семейные сахарницы и круглые зеркала в деревянных рамах, висящие на глиняных стенах подземелий — весь этот быт, мирную утварь, вынесенную из огня горящих зданий; это пианино

на командном пункте пулемётного батальона, где играли под рев германского наступления; и этот высокий, благородный стиль отношений, простоту и непосредственность людей, связанных узами крови, памятью о павших, величайшими трудами и муками сталинградских боев. Когда командующий 62-й армией разговаривает со связным и связной разговаривает с командующим, когда телефонисты заходят к начальнику штаба проверить на слышимость аппарат, когда командир дивизии Батюк отдаёт приказ красноармейцу, а командир роты докладывает командиру полка Михайлову о ночном бое, — во всем, в каждом движении, в каждом слове и взгляде ощущается этот особый стиль высокого достоинства, стиль, совмещающий в себе железную, беспощадную дисциплину, когда по одному слову тысячи людей поднимались на смерть, и одновременно братство всех сталинградцев: генералов и бойцов. Пусть эту черту, этот стиль не упустят те, кто будет писать историю сталинградской битвы.

Не раз писалось о том, как создавалась великая сталинградская оборона, как цементировалась она. Это — слава нашего человека, слава его мужеству, терпению, его способности к самопожертвованию.

Среди многих условий, определивших успех нашей обороны, следует на одно из почётных мест поставить умелое руководство 62-й армией. Командующий Чуйков, член Военного совета Гуров и начальник штаба Крылов были не только военными руководителями операций, они являлись и духовным стержнем сталинградской обороны. Не только ясная, спокойная военная мысль, не только беспощадная воля и упорство нужны были для руководства 62-й армией. В это великое дело нужно было вложить всё сердце, всю душу. И суровые приказы в дни октября часто шли не только от разума, но и от сердца. И эти суровые, холодные приказы, продиктованные сердцем, как пламя, жгли людей, поднимали их на сверхчеловеческие подвиги самопожертвования и терпения, ибо в те дни

человеческих подвигов было мало для решения задач, стоявших перед бойцами 62-й армии.

Военный совет армии делил с бойцами все тяжести обороны. Восемь раз переезжал командный пункт армии. В Сталинграде знают, что значит переезд КП. Это значит: попадание тонных бомб и прицельный огонь автоматчиков. Сорок работников штаба погибли от миномётного огня в блиндажах Военного совета. Была одна страшная ночь, когда тысячи тонн горящей нефти вырвались из подожжённых немецкими снарядами хранилищ и с ревом устремились на блиндажи Военного совета. Пламя поднималось на высоту восьмисот метров. Волга запылала, вся покрывшись горящей нефтью. Горела земля, огненные потоки стремительно срывались с крутого обрыва. Начальника штаба — генерала Крылова, работавшего в своём блиндаже и лишь по страшному жару заметившего, что кругом всё пылает, в последнюю минуту сумели перетащить через огненную реку. Всю ночь Военный совет простоял на узкой кромке берега среди ревущего чёрного пламени. Командир гвардейской дивизии Родимцев послал к месту пожара бойцов. Они вернулись и доложили, что Военный совет ушёл. «На левый берег?» — спросили их. «Нет, — ответили бойцы, — ближе к переднему краю».

Бывали дни, когда Военный совет находился ближе к противнику, чем командные пункты дивизий и даже полков. Блиндажи сотрясались так, словно находились в центре мощного землетрясения. Казалось, что могучие брёвна крепления сгибаются, словно эластичные прутья, земля ходила волнами под ногами, кровати и столы приходилось прибивать к полу, как в каютах кораблей во время бури. Бывало, что посуда на столе рассыпалась на мелкие черепки от постоянной вибрации высокой частоты. Радиопередатчики отказывали, многочасовая бомбёжка выводила из строя и лампы. Уши уже не воспринимали грохота, казалось, что две стальные иглы проникают в ушные раковины и мучительно давят на мозг. Вот в такой обстановке проходили дни, а ночью, когда стихала бом-

бёжка, командарм Чуйков, сидя за картой, отдавал командирам дивизий приказы. Гуров, спокойный, дружественный, неожиданно появлялся в дивизиях и полках, Крылов вёл свою работу над картами, таблицами, планами, писал доклады, проверял тысячи цифр, думал. И все они поглядывали на часы и вздыхали: «Вот и скоро рассвет, и снова валтузка».

Когда я спросил Чуйкова, что было самым тяжёлым для него, он, не задумываясь, ответил: — Часы нарушения связи с войсками. Представляете себе, бывали дни, когда немцы обрывали всю проволочную связь с дивизиями, радио переставало работать, от сотрясения отказывали лампы. Пошлёшь офицера связи — убивает пошлёшь другого — убивает. Всё трещит, грохочет, и нет связи. Вот это ожидание ночи, когда можно наконец связаться с дивизиями... Не было для меня ничего страшней и мучительней этого чувства связанности, неизвестности.

Мы беседуем с командиром долгую декабрьскую ночь. Иногда Чуйков прислушивается и говорит:

— Слышите, тихо, — и смеясь добавляет: — Честное слово, скучно.

Он — высокий человек с большим тёмным, несколько обрюзгшим лицом, с курчавыми волосами, крупным горбатым носом. Этот сын тульского крестьянина Чуйкова почему-то напоминает генерала далёких времён первой Отечественной войны. Когда-то он был рабочим в шорной мастерской в Петрограде, вырабатывал «малиновый звон». Девятнадцатилетним юношей он командовал полком во время гражданской войны. С тех пор он военный.

Для этого человека оборона Сталинграда не была одной лишь военной проблемой, пусть даже первостепенного стратегического значения. Он переживал и ощущал романтику этой битвы, жестокую и мрачную красоту её, поэзию войны, поэзию смертной обороны, к которой он обязывал железным приказом командиров и красноармейцев. Для него эта битва за Сталинград была торжеством и величайшей славой русской пехоты. Когда чёрные силы

немецкой авиации и танков, артиллерии и минометов, собранные фон-Боком, Тодтом и Паулюсом на направлении главного удара, обрушивались всей тяжестью на линию нашей обороны, когда в чёрном дыму тонуло солнце и гранитный фундамент зданий рассыпался мелким песком, когда от гула моторов танковых дивизий колебались подточенные стены зданий и казалось, нет и не может быть ничего живого в этом аду, тогда из земли поднималась бессмертная русская пехота.

Да, здесь все силы германской техники были встречены русским солдатом-пехотинцем, и Чуйков, для которого эта залитая кровью земля была дороже и прекрасней райских садов, говорил: «Как, пролить столько крови, подняться на такие высоты славы и отступить? Да никогда этого не будет!» Он учил командиров спокойному, трезвому отношению к противнику. «Не так страшен чорт, как его малюют», — говорил он, хотя знал, что в некоторые дни немецкий чорт бывал очень страшен на направлении главного удара. Он знал, что суровая правда в оценке противника — необходимейшее условие победы, и говорил: «Переоценивать силу противника вредно, недооценивать — опасно». Он говорил командирам о гордости русского военного, о том, что лучше офицеру не сносить головы, чем поклониться перед строем немецкому снаряду. Он верил в русский военный задор. Суровейший среди суровых, он был беспощаден с паникёрами и трусами.

Такой же верой в силу нашей пехоты жил генерал-майор Крылов. На этой вере основывал он свою сложную работу, свои расчёты, свои предвидения. Судьба положила ему жребий быть от первого до последнего дня начальником штаба армии, защищавшей Одессу, затем начальником штаба героической армии, семь месяцев оборонявшей Севастополь, и, наконец, начальником штаба 62-й сталинградской армии. Этот спокойный, задумчивый человек, с размеренной негромкой речью, мягкими движениями и мягкой улыбкой, пожалуй, единственный генерал

в мире, столь богатый опытом обороны городов. Такого опыта не имеет ни одна академия.

Суровую науку свою генерал Крылов изучал в огне пожаров и грохоте взрывов. Он приучил себя методически работать, обдумывать сложные вопросы, размышлять над замыслами противника, разрабатывать и детализировать маневры и планы в таких адских условиях, в которых ни один человек науки не мог бы и на минуту сосредоточить свои мысли.

В Сталинграде ему иногда казалось, что севастопольская битва не кончилась, а продолжается здесь, что грохот румынской артиллерии на подступах к Одессе слился с ревом немецких пикировщиков, нависших над сталинградскими заводами. В Одессе бой шёл на внешнем обводе, в пятнадцати-восемнадцати километрах от города, в Севастополе он придвинулся к окраинам, шёл на Северной и Корабельной стороне, а здесь он вошёл в самый город — на площади и в переулки, в дворы, в дома, в цехи заводов. Здесь бой шёл на том же страшном потенциале, как и в Севастополе, но масштабы его, воинские массы, втянутые в него, были неизмеримо больше. И здесь сражение, наконец, было выиграно. Крылову казалось, что это победа не только сталинградской армии, что это победа Одессы и Севастополя.

В чём была тактика противника во всех трёх битвах за города? Немцы во всех трёх сражениях применяли метод последовательного, методического прогрызания нашей обороны, рассечения боевых порядков и уничтожения и подавления их по частям в тех случаях, когда им удавалось расчленить эти боевые порядки. В этих ударах весь главный расчёт делался на силу мотора, на массированное применение концентрированной техники, на ошеломление. В такой тактике с военной точки зрения не было ничего порочного. Наоборот, это была правильная тактика, но в ней имелся один органический порок, избежать которого немцы не могли, — это диспропорция между силой могучего мотора и несовершенством немецкой пе-

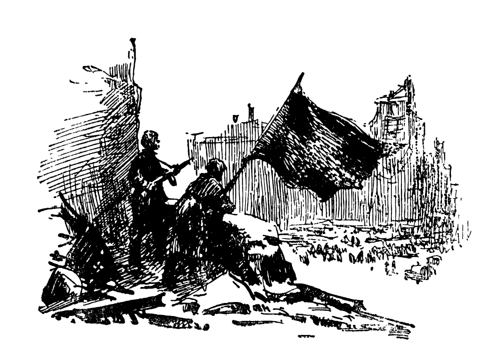
хоты. И вот стальным клином, вошедшим в эту брешь, были великолепно вооружённые русские стрелковые дивизии, оборонявшие Сталинград, их стойкость, их бессмертное мужество. Эту силу Крылов по-настоящему понял в Одессе, он измерил её возможности в Севастополе, и он стал свидетелем и участником её торжества на берегу Волги, в Сталинграде.

Вероятно, если через четверть века люди, командовавшие 62-й армией, встретятся с командирами сталинградских дивизий, эта встреча будет встречей братьев. Старики обнимутся, утрут слезу и начнут вспоминать о великих сталинградских днях. Вспомнят погибшего в бою Болвинова, которого нежно любили бойцы за то, что он до дна выпил с ними горькую чарку солдатской беды, Болвинова, который, обвязавшись гранатами, подползал к боевому охранению и говорил своим бойцам: «Ничего, ребята, не поделаешь, держись». Вспомнят, как Жолудева засыпало в блиндаже и он под землёй вместе со своим штабом затянул песню: «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить!» Вспомнят трубу, в которой сидел Родимцев, и вспомнят, как в тот день, когда дивизия Родимцева переправлялась через Волгу, работники штаба армии сели в танки и поддерживали переправу. Вспомнят, как Гуртьева засыпало вместе со штабом в пещере и как друзья прокопали к ним ход. Вспомнят, как командир дивизии Батюк шёл на доклад к командующему и крупнокалиберный снаряд упал ему под ноги, но не разорвался, и как Батюк покачал головой и зашагал дальше, заложив руку за борт шинели. Вспомнят, как генерал Гуртьев звонил по телефону своему другу генералу Жолудеву и говорил: «Крепись, дорогой, помочь ничем тебе не могу». Вспомнят, как на замёрзшем берегу встретились Горишный и Людников.

Вспомнят многое. Вспомнят, конечно, и то, как крепко жал Чуйков и как жарко бывало не только по дороге в блиндаж командующего, но и в самом его блиндаже. Многое вспомнят. Это будет торжественная радостная встреча. Но будет в ней и большая печаль, ибо многие

не придут на неё из тех, кого невозможно забыть, ибо все — и командарм и командиры дивизий никогда не забудут великого и горького подвига русского солдата, большой кровью своей отстоявшего отчизну.

29 декабря 1942 года





Цена 50 коп.